

Николай Михайлович Пржевальский

Монголия и страна тангутов.

Первое путешествие в Центральной Азии 1870–1873 гг

часть 1

В начале ноября 1870 года, прокатив на почтовых через Сибирь, я и мой молодой спутник Михаил Александрович Пыльцов прибыли в Кяхту, откуда должно было начаться наше путешествие по Монголии и сопредельным ей странам Внутренней Азии.

Близость чужих краев почуялась для нас в Кяхте с первого же раза. Вереницы верблюдов на улицах города, загорелые, скуластые лица монголов, длиннокосые китайцы, чуждая, непонятная речь все это ясно говорило нам, что мы стоим теперь накануне того шага, который должен, надолго разлучить нас с родиной и всем, что только есть там дорогого. Тяжело было мириться с такой мыслью, но ее суровый гнет смягчался радостным ожиданием близкого начала путешествия, о котором я мечтал с самых ранних лет своей юности...

На всем протяжении от Кяхты до Урги, где расстояние около 300 верст, местность несет вполне характер лучших частей нашего Забайкалья; здесь то же обилие леса и воды, те же превосходные луга на пологих горных скатах словом, путнику еще ничто не возвещает о близости пустыни. Абсолютная высота этого пространства, от Кяхты до реки Хара-гола, примерно около 2 500 футов; затем местность повышается, и в городе Урге поднятие над уровнем моря достигает уже 4 200 футов. Такой подъем составляет северную окраину обширного плоскогорья Гоби.

В общем, пространство между Кяхтой и Ургой несет гористый характер, но горы здесь достигают лишь средней высоты и притом большей частью имеют мягкие формы.

Отсутствие резко очерченных вершин и больших диких скал, невысокие перевалы и пологие скаты вот общий топографический характер здешних горных хребтов, которые все имеют направление от запада к востоку. Из этих хребтов, по ургинской дороге, более других отличаются по величине три: один на северном берегу реки Иро, другой Манхадаи в середине и третий Мухур уже возле Урги. Перевал крут и высок только через Манхадаи, но его можно обойти окольным, более восточным путем.

Орошение описываемого пространства богато, и из рек наибольшие суть Иро и Ха-рагол, впадающие в Орхон, приток Селенги.

Почва везде черноземная или суглинистая, весьма удобная для обработки; но культура еще не коснулась этой местности, и только верстах в ста пятидесяти от Кяхты распаханно несколько десятин поселившимися здесь китайцами.

Гористая полоса, залегшая между Кяхтой и Ургой, довольно богата и лесами.

Впрочем, леса эти, растущие главным образом на северных склонах гор, в своих размерах, форме и смешении пород далеко не представляют того богатства, как наши сибирские.

Из деревьев здесь преобладают сосна, лиственница и белая береза; в меньшем числе к ним примешиваются кедр, осина и черная береза; иногда горные скаты одеты редкими кустами дикого персика и золотарника. Затем везде, по долинам и открытым склонам гор, растет превосходная густая трава, доставляющая пищу монгольскому скоту, который круглый год пасется на подножном корме.

В животном царстве зимой было немного разнообразия. Всего чаще встречались серые куропатки, зайцы и пищухи; зимующие жаворонки и чечетки большими стадами держались на дороге. Красивые красноносые клушицы попадались всё чаще и чаще, по мере приближения к Урге, где они гнездятся даже в доме нашего консульства. В лесах, по словам местных жителей, водятся в большом числе косули, а также изюбри, кабаны и медведи. Словом, фауна здешней местности, так же как и остальная ее природа, несет еще вполне сибирский характер.

Через неделю по выезде из Кяхты мы добрались до города Урги, где провели четыре дня в радушном семействе нашего консула Я.П. Шишмарева.

Город Урга, главный пункт Северной Монголии, лежит на реке Толе, притоке Орхона, и известен всемномадам исключительно под именем «Богдо-курень» или «Да-курень», то есть священное стойбище; именем же «Урга», происходящим от слова «урго» (дворец), окрестили его только русские.

Этот город состоит из двух частей: монгольской и китайской. Первая собственно и называется «Богдо-курень», а вторая, лежащая от нее в 4 верстах к востоку, носит имя «Май-май-чен», то есть торговое место. В середине между обеими половинами Урги помещается на прекрасном возвышенном месте, недалеко от берега Толы, двухэтажный дом русского консульства с флигелями и другими пристройками.

Жителей во всей Урге считается до 30 тысяч. Население китайского города, выстроенного из глиняных фанз, состоит исключительно из китайцев-чиновников и торговцев. Те и другие по закону не могут иметь при себе семейств и вообще заводиться прочной оседлостью.

В монгольском городе на первом плане являются кумирни со своими позолоченными куполами и дворец кутухты земного представителя божества. Впрочем, этот дворец по своей наружности почти не отличается от кумирен, между которыми самая замечательная по величине и архитектуре храм Майдари, будущего правителя мира.

Это высокое квадратное здание с плоской крышей и зубчатыми стенами, внутри его, на возвышении, помещается статуя Майдари в образе сидящего и улыбающегося человека. Эта статуя имеет до 5 сажень вышины и весит, как говорят, около 8 000 пудов; она сделана из вызолоченной меди в городе Долон-нор*, а затем по частям перевезена в Ургу. * Этот город лежит в юго-восточной окраине Монголии и составляет главное место фабрикации всех монгольских идиолов. (Примеч. автора.)

Перед статуей Майдари находится стол с различными приношениями, в числе которых не последнее место занимает стеклянная пробка от нашего обыкновенного графина; кругом же стен здания размещено множество других мелких божков (бурханов), а также различных священных картин. Кроме кумирен и небольшого числа китайских фанз, остальные обиталища монгольского города состоят из войлочных юрт и маленьких китайских мазанок; те и другие помещаются всегда внутри ограды, сделанной из частокола. Подобные дворы то вытянуты в одну линию, так что образуют улицы, то

разбросаны кучами без всякого порядка. В середине города находится базарная площадь, и здесь есть четыре или пять лавок наших купцов, которые занимаются мелочной продажей русских товаров, а также транспортировкой чая в Кяхту.

Население монгольской части Урги состоит главным образом из лам, то есть из лиц, принадлежащих к духовному сословию; число их в Богдо-курене простирается до 10 тысяч. Такая цифра может показаться преувеличенной, но читатель помирится с ней, когда узнает, что из всего мужского населения Монголии по крайней мере одна треть принадлежит ламскому сословию. Для обучения мальчиков, предназначенных быть ламами, в Урге находится большая школа с подразделениями на факультеты: богословский, медицинский и астрологический. Для монголов Урга по своему религиозному значению составляет второй город после Лассы* в Тибете. * Столица Тибета Ласса, то есть Лхаса. (Примеч. редактора.)

Как там, так и здесь пребывают главные святыни буддийского мира: в Лассе далай-лама со своим помощником бань-цинъ-эрдэи, а в Урге кутухта, третье лицо после тибетского патриарха. По ламаистскому учению, эти святыне, составляя земное воплощение божества, никогда не умирают, но только обновляются смертью. Душа их по смерти тела, в котором она имела местопребывание, переходит в новорожденного мальчика и через это является людям в более свежем и юном образе.

Вновь возродившийся далай-лама отыскивается в Тибете по указанию своего умершего предшественника; ургинский же кутухта находится пророчеством далай-ламы и также большей частью в Тибете. Тогда из Урги отправляется туда огромный караван, чтобы привезти в Богдо-курень новорожденного святого, за отыскание которого далай-ламе везут подарок деньгами в 30 тысяч лан, иногда и более.

С Ургою оканчивается сибирский характер местности, каковой имеет северная окраина Монголии. Переезжая реку Толу, путешественник оставляет за собой последнюю текущую воду и тут же на горе Ханула, которая считается священной, с тех пор как на ней охотился император Канхи*, путник должен распрощаться с последним лесом. * Современник Петра Великого; лучший из императоров маньчжурского дома, энергичный, любознательный и весьма уважавший европейцев. (Примеч. автора.)

Далее к югу, до окраин собственно Китая, тянется та самая пустыня Гоби*, которая залегла громадной полосой поперек восточно-азиатского нагорья, от западных подножий Куэн-луня до Хинганских гор, отделяющих Монголию от Маньчжурии. * Слово «гоби» по-монгольски означает равнину безводную и бесплодную или малотравянистую. Собственно степь называется «гала». (Примеч. автора.)

Как сказано выше, сибирский характер местности, с ее горами, лесами и обильным орошением, оканчивается возле Урги, и отсюда к югу является уже чисто монгольская природа. Через день пути путешественник встречает совсем иную обстановку.

Безграничная степь, то слегка волнистая, то прорезанная грядами скалистых холмов, убегает в синеющую неясную даль горизонта и нигде не нарушает своего однообразного характера.

То там, то здесь пасутся многочисленные стада и встречаются довольно часто юрты монголов, особенно вблизи дороги.

Последняя так хороша, что по ней можно удобно ехать даже в тарантасе. Собственно Гоби еще не началась, и переходом к ней служит описываемая степная полоса, с почвою глинисто-песчаною, покрытою прекрасною травою. Эта полоса тянется от Урги к юго-западу по калганской дороге верст на двести и затем незаметно переходит в бесплодные равнины собственно Гоби. Впрочем, и в этой последней местности несет более волнистый, нежели равнинный характер, хотя совершенно гладкие площади расстилаются иногда на целые десятки верст. Подобные места особенно часто попадаются около середины Гоби, тогда как в северной и южной ее частях встречается довольно много невысоких гор, или, правильнее, холмов, стоящих то отдельными островками, то вытянувшихся в продольные хребты. Эти горы возвышаются лишь на несколько сот футов над окрестными равнинами и изобилуют голыми скалами.

Их ущелья и долины всегда заняты сухими руслами потоков, в которых вода бывает только во время сильного дождя, да и то лишь на несколько часов. По таким сухим руслам расположены колодцы, доставляющие воду местному населению. Текучей воды не встречается нигде на всем протяжении от реки Толы до окраины собственно Китая, то есть почти на 900 верст. Только летом, во время дождей, здесь образуются на глинистых площадях временные озера, которые затем высыхают в период жаров. Почва в собственно Гоби состоит из крупнозернистого красноватого гравия и мелкой гальки, к которой примешаны различные камни, как, например, иногда агаты.

Местами встречаются полосы желтого сыпучего песка, впрочем далеко не столь обширные, как в южной части той же самой пустыни.

Население в собственно Гоби попадаетея несравненно реже, чем в предшествовавшей ей степной полосе. Действительно, разве только монгол да его вечный спутник верблюд могут свободно обитать в этих местностях, лишенных воды и леса, накаляемых летом до тропической жары, а зимою охлаждающихся чуть ли не до полярной стужи.

Вообще Гоби своею пустынностью и однообразием производит на путешественника тяжелое, подавляющее впечатление. По целым неделям сряду перед его глазами являются одни и те же образы: то неоглядные равнины, отливающие (зимою) желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые изборожденные гряды скал, то пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт быстроногого дзерена. Мерно шагают тяжело навьюченные верблюды, идут десятки, сотни верст, но степь не изменяет своего характера, а остается по-прежнему угрюмой и неприветливой... Закатится солнце, ляжет темный полог ночи, безоблачное небо заискрится миллионами звезд, и караван, пройдя еще немного, останавливается на ночевку. Радуются верблюды, освободившись из-под тяжелых выюков, и тотчас же улягутся вокруг палатки погонщиков, которые тем временем варят свой неприхотливый ужин. Прошел еще час, заснули люди и животные и кругом опять воцарилась мертвая тишина пустыни, как будто в ней вовсе нет живого существа...

Поперек всей Гоби, из Урги в Калган, кроме почтового тракта, содержимого монголами, существует еще несколько караванных путей, где обыкновенно следуют караваны с чаем. На почтовом тракте, через известное расстояние, выкопаны колодцы и поставлены юрты, заменяющие наши станции; по караванному же пути монгольские стойбища сообразуются с качеством и количеством подножного корма.

Впрочем, на такие пути прикочевывает обыкновенно лишь бедное население, зарабатывающее от проходящих караванов то милостыней, то пастьбой верблюдов, то продажей сушеного скотского помета, так называемого аргала.

Последний имеет громадную ценность как в домашнем быту номада, так и для путешественника, потому что составляет единственное топливо во всей Гоби.

Однообразно потянулись дни нашего путешествия. Направившись средним караванным путем, мы обыкновенно выходили в полдень и шли до полуночи, так что делали средним числом ежедневно 40–50 верст. Днем мы с товарищем большей частью шли пешком впереди каравана и стреляли попадавшихся птиц. Между последними вороны вскоре сделались нашими отъявленными врагами за свое нестерпимое нахальство. Еще вскоре после выезда из Кяхты я заметил, что несколько этих птиц подлетали к вьючным верблюдам, шедшим позади нашей телеги, садились на вьюк и затем что-то тащили в клюве, улета в сторону. Подробное исследование показало, что нахальные птицы расклевали один из наших мешков с провизией и таскали оттуда сухари.

Спрятав добычу в стороне, вороны снова являлись за поживою. Когда дело разъяснилось, то все воровы были перестреляны, но через несколько времени явились новые похитители и подверглись той же участи. Подобная история повторялась почти каждый день во время нашего переезда из Кяхты в Калган.

Вообще нахальство воронов в Монголии превосходит всякое вероятие. Эти столь осторожные у нас птицы здесь до того смелы, что воруют у монголов провизию чуть ли не из палатки. Мало того, они садятся на спины верблюдов, пущенных пастись, и расклевают им горбы. Глупое, трусливое животное только кричит во все горло да плюет на своего мучителя, который, то взлетая, то снова опускаясь на спину верблюда, пробивает сильным клювом часто большую рану. Монголы, считающие грехом убивать птиц, не могут ничем отделаться от воронов, которые всегда сопутствуют каждому каравану. Положить что-либо съедобное вне палатки невозможно: оно тотчас же будет уворовано назойливыми птицами, которые за неимением лучшей поживы обдирают даже невыделанную шкуру на ящиках с чаем.

Вороны, а затеям коршуны были нашими заклятыми врагами во время экспедиции.

Сколько раз они воровали у нас даже препарированные шкурки, не только что мясо, но зато и сколько же сот этих птиц поплатилось жизнью за свое нахальство!

Из других пернатых в Гоби нам встречались часто лишь пустынные и монгольские жаворонки. Оба эти вида составляют характерную принадлежность Монголии.

Пустынный, открытый и описанный в конце прошлого столетия знаменитым Палласом*, распространяется через всю Среднюю Азию до Каспийского моря, а на юг встречается до Тибета. *Паллас Петр-Симон (1741–1811) известный натуралист, путешественник, с 1768 года работал в Российской академии наук.

Изучал Поволжье, Кавказ, Сибирь. (Примеч. редактора.)

Эта птица, называемая монголами «больдуру» и китайцами «саджи», держится исключительно в пустыне, где питается семенами нескольких видов трав (мелкой полыни, сульхира и др.). Большой или меньший урожай этих трав обуславливает количество зимующих пустынных птиц, которые в огромном числе скопляются зимою в пустынях Алашаня, будучи привлекаемы туда вкусными семенами сульхира. Летом часть этих птиц является в наше Забайкалье и выводит там детей. Яйца, числом три, кладутся прямо на землю, без всякой подстилки; самка сидит на них довольно крепко, несмотря на то что эти птицы вообще осторожны.

Зимой в том случае, когда на Монгольском нагорье выпадает большой снег, пустынные, гонимые голодом, спускаются в равнины Северного Китая и держатся здесь большими стадами; но лишь только погода несколько изменится к лучшему, они тотчас же улетают в свои родные пустыни. Полет описываемой птицы замечательно быстрый, так что когда несется целая стая, то еще издали слышен особый дребезжащий звук, как бы от сильного вихря; при этом птицы издают короткий, довольно тихий звук. По земле пустынный бегаёт очень плохо, вероятно, вследствие особого устройства своих ног, пальцы которых срослись между собой, а подошва подбита бородавчатой кожей, отчасти напоминающей пятку верблюда*. * Поэтому пустынный у нас называется копыткой. (Примеч. редактора.)

После утренней покормки пустынные всегда летят на водопой к какому-нибудь ключу, колодцу или соленому озеру. Здесь вся стая предварительно описывает несколько кругов, чтобы удостовериться в безопасности, а затем опускается к воде и, быстро напившись, улетает прочь. Места водопоев аккуратно посещаются описываемыми птицами, которые прилетают сюда иногда за несколько десятков верст, если ближе того нет воды.

Монгольский жаворонок один из крупных представителей своего рода держится только в тех местах Гоби, где она превращается в луговую степь. Поэтому описываемый вид встречается в пустыне лишь спорадически*, но зато зимою скопляется большими стадами в несколько сот, иногда тысяч экземпляров. * Т. е. в отдельных случаях, как исключение. (Примеч. редактора.)

Всего чаще мы видали этих жаворонков на южной окраине Гоби; в собственно Китае они также не редки, по крайней мере зимой.

Монгольский жаворонок лучший певун центральноазиатской пустыни. В этом искусстве он почти не уступает своему европейскому собрату. Кроме того, он обладает замечательной способностью передразнивать голоса других птиц и часто вклеивает их в строфы своей собственной песни. Поет, поднимаясь вверх, подобно нашему жаворонку, а также сидя на каком-нибудь выдающемся предмете, например камне или кочке. Китайцы называют описываемого жаворонка «бай-лин», очень любят его пение и часто держат в клетках.

Подобно пустынным, весной монгольские жаворонки подвигаются на север, в Забайкалье, и выводят там детей; впрочем, большая часть их остается в Монголии.

Гнездо устраивается, как у европейского вида, на земле, в небольшом углублении, и в нем бывает от трех до четырех яиц. В монгольской пустыне, где холода перемежаются всю весну, описываемые жаворонки гнездятся очень поздно, так что мы находили в юго-восточной окраине Монголии совершенно свежие яйца в начале и даже в половине июня. На зимовку описываемый вид отлетает в те части Гоби, где нет или очень мало снега.

Несмотря на холода, достигающие здесь иногда до -37°C , жаворонки удобно зимуют и держатся обыкновенно по зарослям травы дырисун, мелкие семена которой составляют в это время их главную пищу. В подобном факте, замечаемом и на некоторых других видах птиц, мы видим прямое указание на то, что многих из наших пернатых на зиму угоняет к югу не холод, а бескормица.

Монгольский жаворонок распространяется к югу до северного изгиба Желтой реки, а затем, минуя Ордос, Ала-шань и гористую область Гань-су, вновь появляется в степях озера Кукунор.

Из млекопитающих, свойственных этой пустыне, можно назвать пока только два характерных вида: пищуху и дзерена.

Пищуха, или, как монголы ее называют, оготоно, принадлежит к тому роду грызунов, который по устройству своих зубов считается близким родственником зайца. Сам зверек достигает величины обыкновенной крысы и живет в норах, выкапываемых им в земле. Местом такого жительства пищухи выбирают исключительно луговые степи, преимущественно всхолмленные, а также долины в горах Забайкалья и северной окраины Монголии. В бесплодной пустыне этот зверек не встречается, поэтому его нет в средней и южной частях Гоби.

Оготоно вообще замечательное животное. Норы свои эти зверьки обыкновенно устраивают обществом, так что где встретится одна такая нора, там, наверное, найдутся их десятки, сотни, иногда даже тысячи. Зимой, в сильные холода, оготоно не показываются из своих подземных жилищ, но лишь только холод немного спадет, они вылезают из нор и, сидя у входа их, греются на солнце или торопливо перебегают из одной норы в другую. В это время слышится их голос, много похожий на писк обыкновенной мыши, только гораздо громче. У бедного оготоно столько врагов, что ему постоянно приходится быть настороже.

Ради этого он часто только до половины высовывается из норы и держит голову кверху, чтобы не прозевать опасность.

Лисицы-корсаки, волки, а всего более сарычи, ястреба, соколы и даже орлы ежедневно уничтожают бесчисленное множество описываемых пищух. Проворство крылатых разбойников на таких охотах изумительно. Я сам много раз видел, как сарыч бросался сверху на оготоно так быстро, что зверек даже не успевал юркнуть в свою нору. Однажды на наших глазах подобную историю проделал даже орел, бросившись на пищуху, сидевшую у входа норы, с высоты по крайней мере 30 или 40 сажен. Сарычи исключительно питаются пищухами, так что даже места своей зимовки в Гоби сообразуют главным образом с количеством описываемых грызунов. При известной плодливости этих последних только подобное истребление препятствует их чрезмерному размножению.

В характере пищухи сильно преобладает любопытство. Завидя подходящего человека или собаку, этот зверек подпускает к себе шагов на десять и затем мгновенно скрывается в норе. Но любопытство берет верх над страхом. Через несколько минут из той же самой норы снова показывается головка зверька, и если предмет страха удаляется, то оготоно тотчас же вылезает и снова занимает свое прежнее место.

Еще особенность оготоно, свойственная и некоторым другим видам пищух, состоит в том, что они на зиму заготавливают себе запасы сена, которые складывают у входа в норы. Сено это припасается зверьками обыкновенно в конце лета, тщательно просушивается и складывается в стожки весом от 4 до 5, а иногда даже 10 фунтов.

Такое сено служит пищухе как для подпилки логовища в норе, так и для пищи зимой, но очень часто труды оготоно пропадают даром, и монгольский скот поедает его запасы. В таком случае бедный зверек должен всю зиму перебиваться высушенной травой, которую находит вблизи своей норы.

Замечательно, как долго оготоно может оставаться без воды. Положим, зимой он довольствуется кое-когда выпадающим снегом, а летом дождем; за неимением последнего является роса, хотя, впрочем, довольно здесь редкая. Но, спрашивается, что пьет оготоно в течение всей весны и осени, когда водяных осадков на Монгольском нагорье часто не бывает по целым месяцам, а сухость воздуха достигает крайних пределов?

Распространение описываемого зверька к югу доходит до северного изгиба Хуан-хэ; далее он заменяется иными видами.

Антилопы-дзерены всегда держатся стадами, в которые собираются иногда несколько сот, даже до тысячи экземпляров. Но подобные скопления бывают лишь в местах особенно обильных кормов; всего же чаще дзерены встречаются обществами от 15 до 30 или 40 экземпляров. Избегая, по возможности, близкого соседства человека, они все-таки живут на лучших пастбищах пустыни и, подобно монголам, кочуют с одного места на другое, соображаясь с количеством подножного корма. Подобные перекочевки иногда производятся очень далеко, в особенности летом, когда засуха гонит дзеренов на привольные пастбища Северной Монголии и даже в южные части нашего Забайкалья. Зимой глубокий снег принуждает их кочевать часто за несколько верст, на места малоснежные или вовсе бесснежные.

Описываемый зверь принадлежит исключительно степной равнине и тщательно избегает гористых местностей. Впрочем, дзерены держатся и в холмистых степях, в особенности весной, когда их привлекает туда молодая зелень, скорее развивающаяся на солнечном пригреве. Кустарников и высоких зарослей травы дырисун они тщательно избегают, и только в период рождения детей, что происходит в мае, самки являются в подобные местности, чтобы укрыть в них новорожденных.

Впрочем, эти последние уже через несколько дней после появления на свет везде следуют за матерью и бегают так же быстро, как и взрослые.

Голос описываемой антилопы можно услышать очень редко; он состоит у самцов* из отрывистого, довольно громкого рывканья. * Голоса самки я не слышал ни разу. (Примеч. автора.)

Внешние чувства дзерена развиты превосходно. Он одарен отличным зрением, слухом и превосходным обонянием; быстрота его бега удивительная; умственные способности также стоят на значительной степени совершенства. Благодаря всем этим качествам описываемые антилопы не так легко даются своим врагам человеку и волку.

Наконец далеко впереди на горизонте показываются неясные очертания того хребта, который служит резкой границей между высоким холодным нагорьем Монголии и теплыми равнинами собственно Китая. Этот хребет носит вполне альпийский характер.

Крутые боковые скаты, глубокие ущелья и пропасти, остроконечные вершины, иногда увенчанные отвесными скалами, наконец, вид бесплодия и дикости вот общий характер этих гор, по главному гребню которых тянется знаменитая Великая стена.

В то же время описываемый хребет, подобно многим другим видам Внутренней Азии, окаймляющим с одной стороны высокое плато, а с другой более низкие равнины, вовсе не имеет подъема со стороны нагорья. До последнего шага путешественник идет между холмами волнистого плато, а затем перед его глазами вдруг раскрывается удивительнейшая панорама. Внизу, под ногами очарованного зрителя, встают, словно в

причудливом сне, целые гряды высоких гор, отвесных скал, пропастей и ущелий, прихотливо перепутанных между собой, а за ними расстилаются густонаселенные долины, по которым серебристой змеей вьются многочисленные речки.

Контраст между тем, что осталось позади, и тем, что лежит впереди, поразительный.

Не менее велика и перемена климата. До сих пор во все время нашего перехода через Монгольское нагорье, день в день стояли морозы, доходившие до -37°C и постоянно сопровождаемые сильными северо-западными ветрами, хотя снегу было вообще очень мало, а местами он и вовсе не покрывал землю. Теперь с каждым шагом спуска через окраинный хребет мы чувствовали, как делалось теплее, и наконец, прибыв в город Калган, встретили, несмотря на конец декабря, совершенно весеннюю погоду. Такова климатическая перемена на расстоянии всего 25 верст, лежащих между названным городом и высшей точкой спуска с нагорья. Эта последняя имеет 5 400 футов абсолютной высоты, между тем как город Калган, расположенный при выходе из окраинного хребта в равнину, поднимается лишь на 2 800 футов над морским уровнем.

Калган запирает собой один из проходов через Великую стену, которую мы увидели здесь в первый раз. Она сложена из больших камней, связанных известковым цементом. Впрочем, величина каждого камня не превосходит нескольких пудов, так как, по всему вероятно, работники собирали их в тех же самых горах и таскали сюда на своих руках. Сама стена в разрезе имеет пирамидальную форму, при высоте до трех сажен и около четырех в основании. На более выдающихся пунктах, иногда даже не далее версты одна от другой, выстроены квадратные башни. Они сделаны из глиняных кирпичей, наложенных вперемежку по длине и ширине и проклеенных известью. Величина башен различна; наибольшие из них имеют по 6 сажен в основании боков и столько же в высоту.

Описываемая стена извивается по гребню окраинного хребта и, спускаясь в поперечные его ущелья, запирает их укреплениями.

В подобных проходах только и годится к чему-либо вся эта постройка. В горах же самый характер местности делает их недоступными для неприятеля; между тем здесь так же сложена стена, и всё в одинаковых размерах. Мне случалось даже видеть, как эта постройка, примыкая к совершенно отвесной скале, не довольствовалась такой естественной преградой, но, оставляя узкий проход, обходила скалу по всей ее длине, иногда весьма значительной. И к чему творилась вся эта гигантская работа?

Сколько миллионов рук работало над ней? Сколько народных сил потрачено даром!

История гласит нам, что описываемую стену выстроили за два с лишним века до нашей эры китайские владыки, с целью оградить государство от вторжения соседних номадов.

С выходом из Калгана, а вместе с тем из окраинного хребта Монгольского нагорья перед глазами путешественника открывается широкая равнина, густо заселенная и превосходно обработанная. Деревни имеют опрятный вид, совершенно противоположный городам. Дорога сильно оживлена: по ней тянутся вереницы ослов, нагруженных каменным углем; телеги, запряженные мулами; пешеходные носильщики и, наконец, собиратели помета, который так дорого ценится в Китае.

Деревни встречаются на каждом шагу. Многочисленные рощи кипариса, древовидного можжевельника, сосны, тополя и других деревьев, указывающие обыкновенно места

кладбищ, придают много разнообразия и красоты равнинному ландшафту. Климат делается еще теплее, так что здесь в период наших крещенских морозов термометр в полдень иногда поднимается в тени выше нуля. О снеге нет и помину; если он изредка и выпадет ночью, то обыкновенно стает в следующий же день. Везде встречаются зимующие птицы: дрозды, вьюрки, дубоносы, стрелатки, грачи, коршуны, голуби, дрофы и утки.

С приближением к столице Небесной империи густота населения увеличивается все более и более. Сплошные деревни образуют целый город, так что путешественник совершенно незаметно подъезжает к пекинской стене и вступает в знаменитую столицу Востока.

* * * Я решился сгруппировать рассказ о населении Монголии в одну главу, изложить в ней характерные черты быта номадов, а затем пополнять их мелкими подробностями уже при историческом изложении путешествия.

Если начать с описания наружности, то за образец коренного монгола, бесспорно, следует взять обитателя Халхи, где всего более сохранилась чистокровная монгольская порода. Широкое, плоское лицо с выдающимися скулами, приплюснутый нос, небольшие, узко прорезанные глаза, угловатый череп, большие оттопыренные уши, черные жесткие волосы, плотное, коренастое сложение при среднем или даже большом росте вот характерные черты наружности каждого халхасца.

В других частях своей родины монголы далеко не везде удержали столь чистокровный тип. Внешнее, иноземное влияние всего сильнее проявилось на юго-восточной окраине Монголии, издавна соседней владениям собственно Китая. И хотя кочевая жизнь номада трудно мирится с условиями культуры оседлого племени, но все-таки в течение столетий китайцы успели тем или другим путем настолько упрочить свое влияние на диких соседей, что в настоящее время эти последние наполовину уже окитаились в местностях, лежащих непосредственно за Великой стеной. Правда, кроме немногих исключений, монгол здесь все еще живет в войлочной юрте и пасет свое стадо, но как по наружности, так еще более по характеру он уже слишком резко отличается от своего северного собрата и гораздо более подходит к китайцу.

Плоское лицо заменилось у него вследствие частых браков с китайками более правильной физиономией китайца, а в одежде и домашней обстановке номад считает щегольством и достоинством подделываться под китайский тон. Самый характер кочевника изменился здесь чрезвычайно сильно: его уже не так манит дикая пустыня, как города густо населенного Китая, в которых он успел познакомиться с выгодами и наслаждениями более цивилизованной жизни.

Подобно китайцам, монголы бреют голову, оставляя только небольшой пучок волос на затылке и сплетая их в длинную косу; ламы же бреются дочиста. Усов и бороды ни те, ни другие не носят, да они и растут крайне плохо.

Монголки не бреют волос, но сплетают их в две косы, которые украшают лентами, кораллами или бисером и носят спереди, по обеим сторонам груди; замужние женщины часто носят одну косу сзади. Сверху волос накладываются серебряные бляхи с красными кораллами, которые в Монголии ценятся очень дорого; бедные заменяют кораллы простыми бусами, но сами бляхи обыкновенно делаются из серебра или, как редкое исключение, из меди. Подобный наряд надвигается на верхнюю часть лба; кроме того, в уши вдеваются большие серебряные серьги, а на руках носят кольца и браслеты.

Одежда монголов состоит из кафтана вроде халата, сделанного обыкновенно из синей китайской дабы, китайских сапог и плоской шляпы с отвороченными вверх полями; рубашек, равно как и нижнего платья, номады большей частью не носят. Зимой они надевают теплые панталоны, бараньи шубы и теплые шапки. Для щегольства летний халат делается часто из шелковой китайской материи; сверх того, чиновники носят китайские курмы. Как халат, так и шуба всегда подвязаны поясом, за которым повешены, на спине или сбоку, неизменные принадлежности каждого монгола: кисет с табаком, трубка и огниво. Кроме того, у халхасцев за пазухой всегда имеется табакерка с нюхательным табаком, угощение которым составляет первое приветствие при встрече. Но главное щегольство номада заключается в верховой сбруе, которая часто украшается серебром.

Женщины носят халат, несколько отличный от мужского, и притом без пояса; сверху же обыкновенно надевают род фуфайки без рукавов. Впрочем, покрой платья, равно как и прическа прекрасного пола значительно изменяются в различных местностях Монголии.

Универсальное жилище монгола составляет войлочная юрта (гыр), одна и та же во всех закоулках его родины. Каждая такая юрта имеет круглую форму с конической вершиной, где находится отверстие для выхода дыма и для света.

Монгол никогда не пьет сырой, холодной воды, но всегда заменяет ее кирпичным чаем, составляющим в то же время универсальную пищу номадов.

Этот продукт монголы получают от китайцев и до того пристрастились к нему, что без чая ни один номад ни мужчина, ни женщина не может существовать и нескольких суток. Целый день, с утра до вечера, в каждой юрте на очаге стоит котел с чаем, который беспрестанно пьют все члены семьи; этот же чай составляет первое угощение каждого гостя.

Вода употребляется обыкновенно соленая, а если таковой нет, то в кипяток нарочно прибавляется соль. Затем крошится ножом или толчется в ступе кирпичный чай, и горсть его бросается в кипящую воду, куда прибавляется также несколько чашек молока.

Для того чтобы размягчить твердый, как камень, кирпич чаю, его предварительно кладут на несколько минут в горящий аргал, что, конечно, придает еще больше аромата и вкуса всему напитку. На первый раз угощение готово. Но в таком виде оно служит только для питья, вроде нашего шоколада, или кофе, или прохладительных напитков. Для более же существенной еды монгол сыплет в свою чашку с чаем сухое жареное просо и, наконец, в довершение всей прелести, кладет туда масло или сырой курдючный жир. Выпить в течение дня 10 или 15 чашек, вместимостью равных нашему стакану, это порция самая обыкновенная даже для монгольской девицы; взрослые же мужчины пьют вдвое более. При этом нужно заметить, что чашки, из которых едят номады, составляют исключительную собственность каждого лица. Чашки составляют известного рода щегольство, и у богатых встречаются из чистого серебра китайской работы; ламы иногда делают их из человеческих черепов, которые разрезаются пополам и оправляются в серебро.

Рядом с чаем молоко в различных видах составляет постоянную пищу монголов. Из него приготавливаются масло, пенки и кумыс.

Хотя чай и молоко составляют в течение круглого года главную пищу монголов, но весьма важным подспорьем к ней, в особенности зимой, служит баранье мясо. Это такое лакомое кушанье для каждого номада, что, желая похвалить что-либо съедобное, он всегда говорит: "Так вкусно, как баранина". Баран даже считается, как и верблюд, священным животным.

Впрочем, весь домашний скот у номадов служит эмблемой достоинства, так что именами «бараний», «лошадиный» или «верблюжий» окрещиваются даже некоторые виды растительного и животного царства. Самой лакомой частью барана считается курдюк, который, как известно, состоит из чистого жира. Монгольские бараны к осени до того отъедаются иногда на самом плохом, по-видимому, корме, что кругом бывают покрыты слоем сала в дюйм толщиной. Но чем жирнее это животное, тем оно лучше для монгольского вкуса.

Кроме баранины как специального кушанья, монголы едят также козлов, лошадей, в меньшем количестве рогатый скот и еще реже верблюдов. Хлеба монголы не знают, хотя не отказываются есть китайские булки, а иногда дома готовят лепешки или лапшу из пшеничной муки. Вблизи нашей границы номады даже едят черный хлеб, но подальше, внутрь Монголии, его не знают, и те монголы, которым мы давали черные сухари, попробовав их, обыкновенно говорили, что "в такой еде нет ничего приятного, только зубами стучаешь".

Птиц и рыб монголы, за весьма немногими исключениями, вовсе не едят и считают такую пищу поганой. Отвращение их в этом случае до того велико, что однажды на озере Кукунор с нашим проводником сделалась рвота в то время, когда он смотрел, как мы ели вареную утку. Этот случай показывает, до чего относительно понятия людей даже о таких предметах, которые, по-видимому, поверяются только одним чувством.

Исключительное занятие монголов и единственный источник их благосостояния составляет скотоводство; количеством домашних животных здесь мерится богатство человека. Из этих животных номады разводят всего более баранов, лошадей, верблюдов, рогатый скот и в меньшем числе держат коз. Впрочем, преобладание того или другого вида домашних животных различно в различных местностях Монголии. Так, наилучших верблюдов и наибольшее их количество можно встретить только в Халхе; земля сахаров изобилует лошадьми; в Ала-шане разводятся преимущественно козы; на Куку-норе обыкновенная корова заменяется яком.

Получая от домашних животных все необходимое: молоко и мясо для пищи, шкуры для одежды, шерсть для войлоков и веревок, притом еще зарабатывая большие деньги как от продажи этих животных, так равно и от перевозки на верблюдах различных тяжестей по пустыне, номад живет исключительно для своего скота, оставляя на втором плане заботу о себе самом и о своем семействе. Перекочевки с места на место соображаются исключительно с выгодами стоянки для домашних животных. Если для последних хорошо, то есть корм имеется в изобилии и есть водопой, то монгол не претендует ни на что остальное. Уменьше номада обращаться со своими животными и его терпение в этом случае достойны удивления. Упрямый верблюд делается в руках этого человека покорным носильщиком, а полудикий степной конь послушной и смирной верховой лошадью. Кроме того, номад любит и жалеет своих животных. Он ни за что на свете не заседает верблюда или лошадь ранее известного возраста, ни за какие деньги не продаст барашка или теленка, считая грехом убивать их в детском возрасте.

Скотоводство составляет единственное и исключительное занятие монголов.

Промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой некоторых предметов, необходимых в домашнем быту, как-то: кож, войлоков, седел, узд, луков; изредка приготавливаются огнивы и ножи.

Самые ничтожные расстояния, хотя бы только в несколько сот шагов, монгол никогда не пройдет пешком, но непременно усядется на лошадь, которая для этого постоянно привязана возле юрты. Стадо свое номад также пасет, сидя на коне, а во время путешествия с караваном разве только в страшный холод слезет с верблюда, чтобы пройти версту, или две, и разогреть оковеневшие члены. От постоянного пребывания на коне даже ноги номада немного выгнуты наружу, и он охватывает ими седло так крепко, как будто прирос к лошади. Самый дикий степной конь ничего не поделает с таким наездником, каков каждый монгол. Верхом на скакуне номад действительно в своей сфере; он никогда не ездит шагом, редко даже рысью, но всегда, как ветер, мчится по пустыне. Зато монгол любит и знает своих лошадей; хороший скакун или иноходец составляет его главное щегольство, и он не продаст такого коня даже в самой крайней нужде. Пешая ходьба до того во всеобщем презрении у номадов, что каждый из них считает стыдом пройти пешком даже в юрту близкого соседа.

Одаренные от природы сильным телосложением и приученные сызмальства ко всем невзгодам своей родины, монголы пользуются вообще отличным здоровьем. Они необыкновенно выносливы ко всем трудностям пустыни. Целый месяц сряду, без отдыха, идет монгол в самую глубокую зиму с караваном верблюдов, нагруженных чаем. День в день стоят 30-градусные морозы при постоянных северо-западных ветрах, еще более увеличивающих стужу и делающих ее нестерпимой. А между тем номад, следуя из Калгана в Кяхту, постоянно имеет ветер встречу и по 15 часов в сутки сидит, не слезая со своего верблюда. Нужно быть действительно железным человеком, чтобы вынести такой переход; монгол же делает в продолжение зимы взад и вперед четыре конца, которые в общей сложности составляют 5 000 верст. Но натолкните того же самого монгола на другие, несравненно меньшие, но неведомые для него трудности и посмотрите, что будет. Этот человек с здоровьем, закаленным, как железо, не сможет пройти пешком без крайнего истомления 20–30 верст; переночуя на сырой почве, простудится, как какой-нибудь избалованный барин; лишенный два-три дня кирпичного чая, будет роптать во все горло на свою несчастную судьбу.

Но если, с одной стороны, в умственном отношении монголу нельзя отказать в сметливости, то опять-таки эта сметливость, как и другие черты характера номада, направлена в исключительную сторону. Монгол знает отлично родную пустыню и сумеет найтись здесь в самом безвыходном положении; предскажет наперед дождь, бурю и другие изменения в атмосфере; отыщет по самым ничтожным приметам своего заблудившегося коня или верблюда; чутьем угадает колодец и т. д.

Из обычаев монголов путешественнику резко бросается в глаза их обыкновение всегда ориентироваться по странам света, никогда не употребляя слов «право» или «лево», словно эти понятия не существуют для номадов. Даже в юрте монгол никогда не скажет: "с правой" или "с левой руки", а всегда "на восток" или "на запад" от него лежит какая-нибудь вещь. При этом следует заметить, что лицевой стороной у номадов считается юг, но не север, как у европейцев, так что восток приходится левой, а не правой стороной горизонта.

Все расстояния у монголов меряются временем езды на верблюдах или лошадях; о другой, более точной мере номады не имеют понятия. При вопросе: далеко ли до такого места? монгол всегда отвечает: столько-то суток ходу на верблюдах, столько-то на верховом

коне. Но так как скорость езды, равно как и количество времени, употребляемого для нее в течение одних суток, могут быть различны, смотря по местным условиям и по личной воле ездока, то номад никогда не преминет добавить: "если хорошо будешь ехать" или "если тихо поедешь".

В домашней жизни монгол отличный семьянин, горячо любящий своих детей. Всегда, когда нам случалось что-либо давать номаду, он делил полученное поровну между всеми членами семьи, хотя бы от такого дележа, например кусочка сахара, каждому пришлось получить лишь по небольшому зернышку. Старшие члены семьи у монголов пользуются большим уважением, в особенности старики, советы или даже приказания которых всегда свято исполняются. Рядом с этим монгол чрезвычайно гостеприимный человек. Каждый может смело войти в любую юрту, и его наверно тотчас же угостят чаем или молоком; для хорошего же знакомого номад не откажется добыть водки или кумысу и даже заколоть барана.

Встретившись дорогой с кем бы то ни было, знакомым или незнакомым, монгол тотчас же приветствует его словами: "менду, менду-сэ-бейна", соответствующими нашему "здравствуй".

Затем начинается взаимное угощение нюхательным табаком, для чего каждый подает свою табакерку другому и при этом обыкновенно спрашивает: «мал-сэ-бейна», «та-сэ-бейна», то есть здоров ли ты и твой скот? Вопрос о скоте ставится на первом плане, так что о здоровье своего гостя монгол осведомляется уже после того, когда узнает, здоровы и жирны ли его бараны, верблюды и лошади. В Ордосе и Ала-шане приветствие при встрече выражается словами «амур-сэ» (здоров ли ты?), а на Куку-норе всего чаще тангутским «тэму», то есть здравствуй. Взаимное нюханье табаку в Южной Монголии производится гораздо реже, на Куку-норе же и вовсе не встречается.

По поводу вопроса о здоровье скота с европейцами-новичками, едущими из Кяхты в Пекин, иногда случаются забавные истории.

Так, однажды какой-то юный офицер, недавно прибывший из Петербурга в Сибирь, ехал курьером в Пекин. На монгольской станции, где меняли лошадей, монголы тотчас же начали лезть к нему с самым почетным, по их мнению, приветствием с вопросом о здоровье скота. Получив через переводчика-казака осведомление своих хозяев о том, жирны ли его бараны и верблюды, юный путешественник начал отрицательно трясти головой и уверять, что у него нет никакого скота. Монголы же со своей стороны ни за что не хотели верить, чтобы состоятельный человек, да еще притом чиновник, мог существовать без баранов, коров, лошадей или верблюдов. Нам лично в путешествии много раз приходилось слушать самые подробные расспросы о том: кому мы оставили свой скот, отправляясь в такую даль, сколько весит курдюк нашего барана, часто ли мы едим дома такое лакомство, сколько у нас скакунов и т. д.

В Южной Монголии для выражения взаимного расположения служат «хадаки», то есть небольшие, в виде полотенца, куски шелковой материи, которыми обмениваются гость и хозяин. Эти хадаки покупаются у китайцев и бывают различного качества, которым до известной степени определяется расположение встречающихся личностей.

Тотчас после приветствия у монголов начинается угощение чаем, причем особенной учтивостью считается подать гостю раскуренную трубку. Уходя из гостей, монголы обыкновенно не прощаются, но прямо встают и выходят из юрты. Проводить гостя до его

коня, привязанного в нескольких шагах, считается особым расположением хозяина; таким почетом всегда пользуются чиновники и важные ламы.

Если затем обратимся к религиозным верованиям номадов, то увидим, что ламаистское учение пустило здесь такие глубокие корни, как, быть может, ни в одной другой стране буддийского мира. Созерцание, поставляемое монголами высшим идеалом, в сочетании с образом жизни номада, заброшенного в пустыню, и породило тот страшный аскетизм, который заставляет его отрешаться от всяческого стремления к прогрессу, а взамен того искать в туманных и отвлеченных идеях о божестве и загробной жизни конечную цель земного существования человека.

Богослужение монголов отправляется на тибетском языке; священные их книги также тибетские. Из них знаменитейшая есть Ганчжур; она состоит из 108 томов и заключает в себе, кроме предметов религиозных, историю, математику, астрономию и прочее. В кумирнях служение обыкновенно совершается три раза в течение дня: утром, в полдень и вечером. Зов к молитве производится трубением в большие морские раковины. Собравшись в кумирню, ламы садятся на полу или на лавках и читают нараспев священные книги. По временам к такому монотонному чтению присоединяются возгласы, которые делает старший из присутствующих, а за ним повторяют и все остальные. Затем при известных расстановках бьют в бубны или в медные тарелки, что еще более усиливает общий шум. Такое моление производится иногда несколько часов сряду и делается более торжественным, когда в кумирне присутствует кутухта. Последний всегда сидит на престоле в особом облачении, имея лицо, обращенное к кумирам; служащие же ламы стоят впереди святого с кадилами в руках и читают молитвы.

Употребительнейшая молитва, которая не сходит с языка каждого ламы, а часто и простого монгола, состоит всего из четырех слов: "Ом мани падме хум". Мы напрасно старались добиться перевода этого изречения. По уверению лам, в нем заключается вся буддийская мудрость.

Кроме обыкновенных кумирен, в местностях, от них удаленных, в Монголии устраиваются дугуны, то есть молельни внутри юрт.

Наконец везде на перевалах и на вершинах высоких гор складываются из камней в честь духа горы иногда большие кучи, называемые «обо». К таким обо монголы питают суеверное уважение; проходя мимо, всегда бросают в общую кучу в виде жертвоприношения камень, какую-нибудь тряпку или клочок шерсти с верблюда. При более важных из этих обо летом ламами совершаются богослужения, и народ собирается на празднества.

Сословие духовных, или так называемых лам, в Монголии весьма многочисленно. К нему принадлежит по крайней мере одна треть, если не более, всего мужского населения, избавленного по этому случаю от всяких податей и повинностей.

Сделаться ламою очень нетрудно. Родители, по собственному желанию, еще в детстве назначают своего сына на подобное поприще, бреют ему всю голову и одевают в красную или желтую одежду. Это составляет внешний знак будущего назначения ребенка, которого затем отдают в кумирню, где он учится грамоте и буддийской мудрости у старых лам. В некоторых первоклассных кумирнях, как, например, в Урге и Гумбуме, устроены для этой цели особые школы с подразделением их на факультеты.

По окончании курса в такой школе лама поступает в штат какой-либо кумирни или занимается лечением как доктор.

Ламское сословие составляет самую страшную язву Монголии, так как занимает лучшую часть мужского населения, живет паразитом на счет остальных собратий, своим безграничным на них влиянием тормозит народу всякую возможность выйти из того глубокого невежества, в которое он погружен.

Пекин, или, как его называют китайцы, "Бей-цзин"* , был исходным пунктом нашего путешествия. * Слово «Бей-цзин» по-китайски означает "Северная столица". По южнокитайскому произношению оно выговаривается «Бэ-гин»; отсюда, вероятно, европейцы и переделали «Пекин». (Примеч. автора.)

Здесь мы нашли самое радушное гостеприимство со стороны наших соотечественников, членов дипломатической и духовной миссий, и прожили почти два месяца, снаряжаясь в предстоящую экспедицию. Знакомство мое с Пекином очень невелико. Обширность города, чуждый европейцу и оригинальный быт китайцев, наконец, незнание их языка все это было причиной того, что я не мог познакомиться в подробности со всеми достопримечательностями столицы Небесной империи.

Не легко было нам снаряжаться в предстоящий путь. Воспользоваться чьим-либо советом в данном случае мы не могли, так как никто из наличных европейцев, пребывавших в то время в Пекине, не переступал за Великую стену в западном направлении. Мы же стремились попасть на северный изгиб Желтой реки, в Ордос и далее, к озеру Куку-нор словом, в страны, почти совершенно неведомые для европейцев. При таких обстоятельствах пришлось угадывать чутьем всю необходимую обстановку экспедиции и самый способ путешествия.

Зимний переезд от Кяхты до Пекина, равно как дальнейшее пребывание в этом городе убедили меня, что путешествие в застенных владениях Китая может быть успешным только при полной независимости путешественника, его спутников и вьючных животных от местного населения, враждебно смотрящего на всякие попытки европейцев проникнуть во внутренние области Небесной империи.

На первый раз мы приобрели семь вьючных верблюдов и две верховые лошади. Далее следовало снарядить багаж и запастись всем необходимым хотя на один год, так как мы не надеялись попасть прямо на Куку-нор, но рассчитывали в течение первого года исследовать местности по среднему течению Желтой реки и затем возвратиться в Пекин. Заготовленный багаж состоял главным образом из оружия и охотничьих снарядов. Те и другие весили очень много, но это была статья первостепенной важности, так как, независимо от стрельбы птиц и зверей для препарирования из них чучел, охота должна была служить и действительно служила единственным источником нашего пропитания в местностях, опустошенных дунганами, или в тех, где китайское население не хотело продавать нам съестных припасов, думая выпроводить от себя непрошенных гостей голодом. Кроме того, оружие служило нам личной защитой от разбойников, которых, впрочем, мы ни разу не видали в течение всего первого путешествия. Весьма вероятно, это и случилось именно потому, что мы были хорошо вооружены. Поговорка "если желаешь жить в мире, то будь готов к войне" и здесь нашла свое правдивое применение.

Благодаря содействию нашего посланника мы получили от китайского правительства паспорт на путешествие по всей Юго-Восточной Монголии до Гань-су и, окончив свои сборы, выступили 25 февраля из Пекина. Горячими пожеланиями счастья и успеха

напутствовали нас пекинские соотечественники, среди которых нам так уютно жилось почти два месяца. Теперь обстановка круто переменялась: неотразимое настоящее сурово звало нас к себе и рисовало впереди то радостную надежду успеха, то робкое сомнение в возможности достигнуть желанной цели...

Кроме казака, привезенного из Кяхты, с нами теперь был командирован еще казак из числа состоящих при нашем пекинском посольстве. Как тот, так и другой могли оставаться при нас только временно и должны были замениться двумя новыми казаками, назначенными в нашу экспедицию, но еще не прибывшими из Кяхты. При таких обстоятельствах мы не могли сразу пуститься в глубь Монголии, но предприняли сначала исследование тех местностей этой страны, которые лежат на север от Пекина, к городу Долон-нор. Здесь мне хотелось: во-первых, познакомиться с характером горной окраины, окаймляющей, как и у Калгана, Монгольское плато; во-вторых, наблюдать весенний пролет птиц. Для последней цели удобным пунктом могло служить озеро Далай-нор, лежащее на Монгольском нагорье в 150 верстах к северу от города Долон-нор.

Несмотря на конец февраля, в Пекинской равнине уже стояла превосходная весенняя погода. Днем бывало даже жарко, и термометр в полдень в тени поднимался до + 14 С. Река Бай-хэ очистилась ото льда и по ней плавали пролетные стада уток и крохалей. Эти птицы вместе с другими водными и голенастыми в конце февраля и в начале марта появляются большими стадами не только возле Пекина, но даже и возле Калгана, где климат заметно суровее. Не решаясь пуститься на север, до которого в это время еще не коснулось благодатное дыхание весны, пролетные гости держатся по заливным полям, орошаемым тогда китайскими земледельцами. В хорошее, ясное утро нетерпеливые стада пробуют летать на нагорье, но, застигнутые холодом и непогодой, снова возвращаются в теплые равнины, где с каждым днем умножается число пернатых переселенцев. Наконец желанный час наступает. Согрелись немного пустыни Монголии, начали таять льды Сибири и стадо за стадом спешит бросить тесную чужбину и понестись на родной, далекий север...

часть 2

Крутые горные скаты везде покрыты густой травой, а далее, внутрь окраины, кустарниками и лесами. Последние состоят из дуба, черной или, реже, белой березы, осины, сосны и изредка ели; по долинам растут ильмы и тополи. Среди кустарных пород чаще всего встречаются дуб с неоппадающими листьями, рододендрон, дикий персик, шиповник, изредка леспедеца и грецкий орех.

Леса растут только по северную сторону реки Луан-хэ и тянутся отсюда на восток к городу Жэ-хэ, летней резиденции богдохана. Все эти леса составляют заповедные облавные места, в которых охотились прежние китайские императоры, но эти охоты прекратились с тех пор, как в 1820 году богдохан Кя-кин был убит во время облавы.

В настоящее время заповедные леса сильно истребляются, несмотря на охранительную стражу. По крайней мере, в том месте, где мы проходили, лишь изредка можно было увидеть большое дерево, а множество пней свидетельствовало о недавних и сильных порубках.

Из зверей мы видели только косуль, хотя, по словам местных жителей, здесь водятся олени, изюбри и тигры. Из птиц везде множество фазанов, куропаток и каменных голубей; реже встречаются дятлы, стренатки. Вообще в орнитологической фауне мы нашли не

особенное разнообразие, но это, быть может, потому, что многие виды еще не прилетели в то время.

По мере удаления от равнин Китая климат делался заметно холоднее, так что на восходе солнца термометр падал иногда до -14 С. Однако днем, в тихую погоду, было довольно тепло, и снегу уже нигде не было, за исключением лишь северных склонов более высоких горных вершин. 17 марта мы пришли в город Долон-нор, который, по сделанному мной наблюдению высоты Полярной звезды, лежит под 42 16 северной широты. Сопровождаемые толпой любопытных зевак, мы долго ходили по улицам города, отыскивая гостиницу, в которой можно было бы остановиться, однако нас нигде не пустили, отговариваясь тем, что нет свободного места. Истомленные большим переходом и промерзшие до костей, мы решились наконец воспользоваться советом одного монгола и отправились просить пристанища в монгольской кумирне. Здесь нас приняли радушно и отвели нам фанзу, в которой мы могли наконец согреться и отдохнуть.

Верстах в сорока от Долон-нора мы вступили в пределы аймака Кэшиктэн. Начиная отсюда, вплоть до озера Далайнор, тянутся песчаные холмы, известные у монголов под именем Гучин-гурбу, то есть "тридцать три". Такое название имеет, вероятно, целью охарактеризовать бесчисленное множество холмов, которые достигают вышины футов тридцати, пятидесяти, иногда даже ста, и без всякого порядка насажены один возле другого. Описываемые холмы большей частью состоят из песка, местами совершенно оголенного, чаще же покрытого травой или тальником; изредка попадаются здесь дуб, липа, черная и белая береза. В зарослях этих деревьев водится множество лисиц и куропаток; в меньшем числе встречаются косули и волки.

Местами выдаются небольшие долины, удобные для обработки, но по причине безводия этой местности монгольские кочевки попадаются очень редко, хотя кое-где есть даже китайские деревни. Множество дорог, проложенных китайцами, приезжающими сюда из Долон-нора за дровами, пересекаются во всевозможных направлениях, так что без проводника очень легко сбиться с истинного пути. Это удовольствие испытали и мы в первый же день своего путешествия в холмах Гучин-гурбу.

Ориентироваться здесь невозможно, так как вовсе нет резких контуров местности: взберешься на один холм, перед глазами торчат новые десятки таких же горок, сделанных как будто по одной мерке. По словам монголов, пески Гучин-гурбу начинаются у верховьев реки Шара-мурени и тянутся верст на восемьдесят западнее озера Далайнор.

Лишь только 25 марта мы пришли на берега этого озера, как в ту же ночь перед нами явилось великолепное зрелище травяного пожара. Хотя в горах окраины мы часто встречали подобные пожары, производимые местными жителями для очистки сухой прошлогодней травы, но та картина, которую мы видели на Далайноре, далеко превосходила все прежние своей грандиозностью.

Еще с вечера замелькал огонек на горизонте, и спустя часа два-три он разросся громадной огненной линией, быстро подвигавшейся по широкой степной равнине.

Небольшая гора, пришедшаяся как раз в середине пожара, вся залилась огнем, словно громадное освещенное здание, выдвигающееся из общей иллюминации. Затем представьте себе небо, окутанное облаками, но освещенное багровым заревом, бросающим вдоль свой красноватый полусвет. Столбы дыма, извиваясь прихотливыми зигзагами и также освещенные пожаром, высоко поднимаются кверху и теряются там в неясных очертаниях. Широкое пространство впереди горящей полосы освещено довольно

полно, а далее ночной мрак кажется еще гуще и непроницаемее. На озере слышатся громкие крики птиц, встревоженных пожаром, но на горящей равнине все тихо и спокойно.

Озеро Далай-нор лежит на северной окраине холмов Гучин-гурбу и по своей величине занимает первое место среди других озер Юго-Восточной Монголии. Формой оно приближается к сплюснутому эллипсу, вытянутому большой осью от юго-запада к северо-востоку. Западный берег имеет несколько выдающихся заливов; очертание же других берегов почти совершенно ровное.

Вода описываемого озера соленая, и, по словам местных жителей, оно очень глубоко, но этому едва ли можно верить, так как на расстоянии сотни и более шагов от берега глубина не превосходит 2–3 футов.

Расположенное среди безводных степей Монголии, озеро Далай-нор служит великой станцией для пролетных птиц водяных и голенастых. Действительно, в конце марта мы нашли здесь множество уток, гусей и лебедей. Крохали, чайки и бакланы встречались в меньшем числе, равно как журавли, цапли, колпицы и шилоклювки. Два последних вида вместе с другими голенастыми стали появляться лишь с начала апреля; хищных птиц было вообще мало, равно как и мелких пташек.

Сильные и холодные ветры, постоянно господствующие на Далай-норе, много мешали нашим охотничьим экскурсиям; однако, несмотря на это, мы столько били уток и гусей, что исключительно продовольтвовались этими птицами. Иногда даже запас переполнялся через край, и мы стреляли уже из одной охотничьей жадности; лебеди давались не так легко, и мы били их почти исключительно пулями из штуцеров.

После 13-дневного пребывания на берегах Далай-нора мы направились прежним путем в город Долон-нор, чтобы следовать отсюда в Калган. Холмы Гучин-гурбу, через которые нужно было вновь переходить, смотрели так же уныло, как и прежде, но их тишина теперь изредка нарушалась великолепным пением каменки-плясуньи. Эта птица, свойственная всей Средней Азии, не только исполняет строфы своей собственной песни, но много заимствует от других птиц и очень мило их передразнивает.

Производство глазомерной съемки вследствие однообразия местности было крайне затруднительно; впрочем, эта работа представляла немало трудностей и в течение всей экспедиции.

При исполнении съемки во время путешествия необходимо было всегда соблюдать, во-первых, точность самой работы, а во-вторых, держать это в секрете от местного населения.

Оба условия были одинаково важны. Знай местный люд, в особенности китайцы, что я снимаю на карту их страну, затруднения нашего путешествия увеличились бы вдвое и едва ли бы мы могли свободно пройти по густонаселенным местностям. К великому счастью, в течение всех трех лет экспедиции я ни разу не был пойман с поличным, то есть с картой, и никто не знал, что я снимаю свой путь.

Миновав город Долон-нор, куда я заехал с одним из казаков, чтобы сделать необходимые покупки, мы пошли далее по дороге, ведущей в Калган.

Обширные и привольные степи, по которым мы проходили от Долон-нора, служат пастбищами для табунов богдохана. Каждый такой табун, называемый у монголов даргу, состоит из 500 лошадей и находится в заведовании особого чиновника; всеми же ими заведует один главный начальник. Из этих стад выбираются лошади для войска во время войны.

Здесь кстати сказать несколько слов о монгольских лошадях. Характерные их признаки составляют: средний или даже малый рост, толстые ноги и шея, большая голова и густая, довольно длинная шерсть, а из особых качеств необыкновенная выносливость. На самых сильных холодах монгольские лошади остаются на подножном корму и довольствуются скудной травой; за неимением же ее едят, подобно верблюдам, бударгану и кустарники; снег зимой обыкновенно заменяет им воду.

Словом, наша лошадь не прожила бы и месяца при тех условиях, при которых монгольская может существовать без горя.

Почти без всякого присмотра бродят огромные табуны лошадей на привольных пастбищах северной Халхи и земли сахаров. Эти табуны обыкновенно разбиваются на косяки, в которых бывает 10–30 кобыл под охраной жеребца. Последний ревниво блюдет своих наложниц и ни в каком случае не позволяет им отлучаться от стада; между предводителями косяков часто происходят драки, в особенности весной.

Монголы, как известно, страстные любители лошадей и отличные их знатоки; по одному взгляду на лошадь номад верно оценит ее качества. Конские скачки также весьма любимы монголами и обыкновенно устраиваются летом при больших кумирнях.

Самые знаменитые скачки бывают в Урге, куда соревнователи приходят за многие сотни верст. От кутухты назначаются призы, и выигравший первую награду получает значительное количество скота, одежды и денег.

Приведу рассказ о самом характерном и замечательном животном Монголии верблюде.

Он вечный спутник номада, часто главный источник его благосостояния и незаменимое животное в путешествии по пустыне. В течение целых трех лет экспедиции мы не разлучались с верблюдами, видели их во всевозможной обстановке, а потому имели много случаев изучать это животное.

Монголии свойственен исключительно двугорбый верблюд; одногорбый его собрат, обыкновенный в туркестанских степях, здесь вовсе неизвестен. Монголы называют свое любимое животное общим именем «тымэ», затем самец называется «бурун», мерин «атан», а самка «инга». Наружные признаки хорошего верблюда составляют: плотное сложение, широкие лапы, широкий, не срезанный косо, зад и высокие, прямо стоячие горбы с большим промежутком между собой. Первые три качества рекомендуют силу животного; последнее, то есть прямо стоячие большие горбы, свидетельствует еще, что верблюд жирен и, следовательно, долго может выносить все невзгоды караванного путешествия в пустыне. Большой рост далеко не гарантирует хороших достоинств описываемого животного, и средней величины верблюд с вышеприведенными признаками гораздо лучше высокого, но узколапого и жидкого по сложению. Впрочем, при одинаковости возраста и других физических условий более крупное животное, конечно, предпочитается малорослому.

Во всей Монголии наилучшие верблюды разводятся в Халхе; здесь они велики ростом, сильны, выносливы. В Ала-шане и на Куку-норе верблюды гораздо меньше ростом и менее сильны; сверх того, на Куку-норе они имеют более короткую, тупую морду, а в Ала-шане более темную шерсть. Эти признаки, сколько мы заметили, сохраняются постоянно, и весьма вероятно, что верблюды Южной Монголии составляют особую породу, отличную от северной.

Степь или пустыня с своим безграничным простором составляет коренное местожительство верблюда; здесь он чувствует себя вполне счастливым, подобно своему хозяину монголу. Тот и другой бегут от оседлой жизни, как от величайшего врага, и верблюды до того любят широкую свободу, что, поставленный в загон хотя бы на самую лучшую пищу, он быстро худеет и наконец издыхает. Исключения составляют разве те верблюды, которых содержат иногда китайцы для перевозки каменного угля, хлеба и других тяжестей. Зато все эти верблюды представляются какими-то жалкими заморышами сравнительно со своими степными собратьями. Впрочем, и китайские верблюды не выносят круглый год неволи, а на лето всегда отсылаются для поправки в ближайшие местности Монголии.

Вообще верблюд весьма своеобразное животное. Относительно неразборчивости пищи и умеренности он может служить образцом, но это верно только для пустыни.

Приведите верблюда на хорошие пастбища, какие мы привыкли видеть в своих странах, и он, вместо того чтобы отъедаться и жиреть, станет худеть с каждым днем. Это мы испытали, когда пришли с своими верблюдами на превосходные альпийские луга гор Гань-су; то же самое говорили нам кяхтинские купцы, пробовавшие завести собственных верблюдов для перевозки чая. В том и другом случае верблюды портились, будучи лишены пищи, которую они имели в пустыне. Здесь любимыми кушаньями описываемого животного служат: лук и бударгана, далее следует дырисун, низкая полынь или саксаул в Ала-шане и хармык, в особенности, когда поспеют его сладко-соленые ягоды. Вообще соль безусловно необходима для верблюдов, и они с величайшим удовольствием едят белый соляной налет, или так называемый гуджир, обильно покрывающий все солончаки и часто выступающий из почвы, даже на травяных степях Монголии. При отсутствии гуджира верблюды едят, хотя с меньшей для себя пользой, чистую соль, которую им необходимо давать раза два или три в месяц. В случае если описываемые животные долго не имели соли, то они начинают худеть, хотя бы пища была в изобилии. Тогда верблюды часто берут в рот и жуют белые камни, принимая их за куски соли. Последняя, в особенности, если верблюды долго ее не ели, действует на них как слабительное. Отсутствием гуджира и солонцеватых растений, вероятно, можно объяснить то обстоятельство, что верблюды не могут жить на хороших пастбищах горных стран. Кроме того, для них здесь нет широкого простора пустыни, по которой наше животное бродит на свободе целое лето.

Продолжая о пище верблюдов, следует сказать, что многие из них едят решительно все: старые побелевшие кости, собственные седла, набитые соломой, ремни, кожу и тому подобное. У наших казаков верблюды съели рукавицы и кожаное седло, а монголы однажды уверяли нас, что их караванные верблюды, долго голодавшие, съели тихомолком старую палатку своих хозяев. Некоторые верблюды едят даже мясо и рыбу; мы сами имели несколько таких экземпляров, которые воровали у нас повешенную для просушки говядину. Один из этих обжор подбирает даже ободранных для чучел птиц, воровал сушеную рыбу, доедал остатки собачьего супа; впрочем, подобный гастроном составлял редкое исключение из своих собратий.

На пастбище верблюды наедаются вообще скоро, часа в два-три, а затем ложатся отдыхать или бродят по степи. Без пищи монгольский верблюд может пробыть дней восемь или десять, а без питья осенью и весной дней семь; летом же, в жары, мне кажется, верблюд не выдержит без воды более трех или четырех суток. Впрочем, способность быть больше или меньше без пищи и питья зависит от личных качеств животного: чем моложе оно и жирнее, тем, конечно, выносливее. Нам лично в течение всей экспедиции только однажды, именно в ноябре 1870 года, не пришлось поить своих верблюдов шесть суток сряду, и они все шли бодро. Во время же летних переходов нам никогда не приходилось оставлять верблюдов без воды долее двух суток. Собственно их следует тогда поить каждый день, а осенью и весной можно давать воду через день или два без всякой порчи животного.

Зимой верблюды довольствуются снегом, и их никогда не поят.

Нравственные качества верблюда стоят на весьма низкой ступени: это животное глупое и в высшей степени трусливое. Иногда достаточно выскочить из-под ног зайцу, и целый караван бросается в сторону, словно бог знает от какой опасности.

Большой черный камень или куча костей часто также вызывает не малое смущение описываемых животных. Свалившееся седло или вьюк до того пугают верблюда, что он как сумасшедший бежит куда глаза глядят, а за ним часто следуют и остальные товарищи. При нападении волка верблюд не думает о защите, хотя одним ударом лапы мог бы убить своего врага; он только плюет на него и кричит во все горло.

Даже вороны и сороки обижают глупое животное. Они садятся ему на спину и расклеивают ссадины от седла и иногда прямо клюют горбы; верблюд и в этом случае только кричит да плюет. Плевание всегда производится пережеванной пищей и составляет признак раздраженного состояния животного. Кроме того, рассерженный верблюд бьет лапой в землю и загибает крючком свой безобразный хвост. Впрочем, злость не в характере этого животного, вероятно, потому, что оно ко всему на свете относится апатично.

Под вьюком верблюд может ходить до глубокой старости, то есть лет до 25, а иногда и более; лучшим временем считается период от 5 до 15 лет. Живет верблюд более 30 лет, а при хороших условиях даже до 40.

Осенью, перед отправлением в караван, монголы предварительно выдерживают без пищи своих откормившихся летом верблюдов в течение десяти и более дней. Все это время верблюды стоят возле юрты привязанными за бурундуки к длинной веревке, протянутой по земле и прикрепленной к кольям, вбитым в почву. Пищи им не дают вовсе и только через два дня на третий водят на водопой. Подобное постничество перед работой необходимо для верблюда, у которого через это, по словам монголов, опадает брюхо и делается прочнее запасенный летом жир.

На летнем корме и на свободе верблюд снова жиреет к осени и обрастает шерстью.

Собственно линяние начинается в марте, и к концу июня шерсть вся вылезает, так что верблюды становятся совершенно голыми. В это время они очень чувствительны к дождю, и даже небольшой вьюк скоро сбивает спину словом, это период болезни верблюда. Затем его тело начинает покрываться мелкой, как бы мышьиной, шерстью, которая окончательно вырастает лишь к концу сентября. Тогда самцы, в особенности

буруны, довольно красивы со своими длинными гривами под низом шеи и на голених передних ног.

Во время пути с караваном зимой верблюдов никогда не расседлывают и по приходе на место тотчас же пускают на покормку; летом же в жары их необходимо расседлывать каждый день, иначе вспотевшая спина скоро сбивается. Такое расседлывание летом производится не тотчас, лишь снимутся вьюки, но спустя час или два, пока верблюды немного остынут. Тогда их можно уже пускать и на покормку или поить; но в сильный жар необходимо покрывать спину войлоком, иначе солнце так нажжет это место, что оно скоро собьется под вьюком. Словом, летом с верблюдами в караване множество возни и все-таки невозможно избежать, чтобы большая часть их не испортилась.

Монголы, полные знатоки своего дела, ни за какие блага не ходят летом в караване на верблюдах; мы же, преследовали другие цели, а потому портили много своих животных.

Верблюд чрезвычайно любит общество себе подобных и в караване идет до последних сил. Если он остановился от истомления и лег, то никакие побои не заставят подняться бедное животное, которое мы обыкновенно бросали на произвол судьбы.

Монголы в подобных случаях едут в ближайшую юрту и поручают тамошним хозяевам своего уставшего верблюда, который через несколько месяцев обыкновенно выхаживается, если только имеет пищу и питье.

Летом верблюды целый день бродят по степи без всякого присмотра и только раз в сутки приходят к колодцу своего хозяина для водопоя. Во время же пути с караваном их укладывают на ночь возле палатки, рядом один возле другого, и привязывают бурундуками* ко вьюкам или к протянутой веревке. * Бурундуком называется тонкая веревочка, заменяющая для верблюда повод. (Примеч. редактора.)

В сильные холода зимой погонщики-монголы часто сами ложатся между верблюдами, чтобы потеплее провести ночь. Во время пути в караване верблюды привязываются один к другому за бурундуки, которые не должны прикрепляться наглухо, иначе животное порвет себе нос, в случае если сильно рванется или попытается назад.

Кроме переноски вьюков, верблюд годится для верховой езды и даже может быть запряжен в телегу. Под верх верблюда седлают тем же седлом, что и лошадь, затем садится всадник и заставляет животное встать. Для слезания обыкновенно кладут верблюда, хотя при поспешности можно и прямо спрыгнуть со стремени. Под верхом верблюд идет шагом или бежит рысью; галопом или вскачь он не пускается. Зато рысь у животного такова, что его догонит разве только отличный скаковой конь. В сутки на верховом верблюде можно сделать верст сто и ехать таким образом на одном и том же животном целую неделю.

Кроме пользы как от вьючного и от верхового животного, монголы получают от верблюда шерсть и молоко. Последнее густо, как сливки, но сладко и неприятно на вкус; масло, приготовляемое из этого молока, также далеко хуже коровьего и много походит на перетопленное сало. Из верблюжьей шерсти монголы вьют веревки, но большей частью продают ее китайцам; для сбора шерсти животное стригут в то время, когда оно начинает линять, то есть в марте.

Несмотря на свое железное здоровье, верблюд, привыкший жить постоянно в сухом воздухе пустыни, чрезвычайно боится сырости. Когда наши верблюды пролежали

несколько ночей на сырой почве гор Гань-су, то все они простудились и начали кашлять, а на теле у них стали появляться какие-то гнойные нарывы. И если бы мы через несколько месяцев не ушли на Куку-нор, то все наши животные непременно бы передохли, как то действительно случилось с верблюдами одного ламы, пришедшего в Гань-су вместе с нами.

Во время караванных хождений, в особенности по тем местам Гоби, где много мелкой гальки, верблюды часто протирают себе подошвы ног, начинают хромать и затем вовсе не могут идти. Тогда монголы связывают ноги хромоту верблюду, валят его на землю и подшивают к протертой подошве кусок толстой шкуры. Операция эта весьма мучительна, так как для подшивки служит широкое шило, которым протыкаются дырки прямо в подошве животного; зато после починки лапы верблюд скоро перестает хромать и по-прежнему несет вьюк. ... 24 апреля утром мы вновь стояли в той точке окраинного монгольского хребта, откуда начинается спуск к Калгану. Опять под нашими ногами раскинулась величественная панорама гор, за которыми виднелись зеленые, как изумруд, равнины Китая. Там царила уже полная весна, между тем как сзади, на нагорье, природа только что начинала просыпаться от зимнего оцепенения.

По мере спуска по ущелью сильно ощущалось близкое влияние теплых равнин; в самом же Калгане мы нашли деревья, уже покрытые листьями, а в окрестных горах собрали до 30 видов цветущих растений.

Двухмесячное хождение в юго-восточном углу Монголии дало нам возможность ознакомиться с характером предстоящего путешествия и оценить до некоторой степени ту обстановку, которая нас ожидает в дальнейшем странствовании.

В Калгане караван наш переформировался. Сюда прибыли теперь из Кяхты два новых казака, назначенных в нашу экспедицию, а бывшие мои спутники должны были возвратиться домой. Когда все сборы были окончены, мы с товарищем написали в последний раз несколько писем на родину и 3 мая вновь поднялись на Монгольское нагорье.

В горах Сума-хада мы в первый раз встретили самое замечательное животное высоких нагорий Средней Азии, именно горного барана, или аргали. Этот зверь, достигающий величины лани, держится в описываемых горах там, где в изобилии находятся скалы; впрочем, весной, когда молодая зелень лучше на луговых скатах гор, аргали иногда встречаются здесь вместе с дзеренами.

Аргали держатся постоянно раз избранного места, и часто одна какая-нибудь гора служит жилищем для целого стада в течение многих лет. Конечно, это возможно только в том случае, если зверь не преследуется человеком, что действительно происходит в горах Сума-хада. Живущие здесь монголы и китайцы почти вовсе не имеют оружия и притом такие плохие охотники, что не могут убить аргали, конечно, не из сострадания к этому животному, а просто по неумению. Звери, со своей стороны, до того привыкли к людям, что часто пасутся вместе с монгольским скотом и приходят на водопой к самым монгольским юртам. С первого раза мы не хотели верить своим глазам, когда увидели, не далее полуверсты от нашей палатки, стадо красивых животных, которые спокойно паслись по зеленому скату горы. Ясно было, что аргали еще не знают в человеке своего заклятого врага и не знакомы со страшным оружием европейца.

Проклятая буря, свирепствовавшая тогда целые сутки, не давала нам возможности тотчас же отправиться на охоту за такими чудными зверями, и с лихорадочным нетерпением мы

с товарищем ожидали, пока уймется ветер. Однако на первой охоте мы не убили ничего именно потому, что еще не были знакомы с характером аргали, и притом до того горячились, видя красивого зверя, что сделали несколько промахов на близком расстоянии. Следующая охота поправила эту неудачу, мы убили двух старых самок.

Аргали превосходно видит, слышит и чует по ветру. Если бы это животное не было так доверчиво к человеку в горах Сума-хада, то охота за ним представляла бы великие трудности. Здесь же аргали до того привыкли к людям, что спокойно смотрят на охотника, когда тот находится в расстоянии 500 шагов.

Самое лучшее время для охоты утро и вечер. С рассветом аргали выходят пастись на горные лужайки, всего чаще на вершинах гор, а в сильно ветреную погоду между скалами. Обыкновенно они ходят небольшими обществами в 5-15 экземпляров и очень редко в одиночку. Во время покормки то один, то другой зверь поднимается на ближайшую скалу осмотреть окрестности; постояв там несколько минут, а иногда полчаса, сторож сходит к своим и принимается за еду. Впрочем, в Сума-хада аргали до того уверены в своей безопасности, что часто не высылают сторожей и пасутся в ложбинах между скалами, где подкрасться к ним на близкое расстояние очень легко.

После утренней покормки описываемые звери ложатся отдыхать, всего чаще в скалах, и проводят здесь время до вечера.

Выстрел поражает стадо ужасом; оно со всех ног бросается в противоположную сторону, но, отбежав немного, останавливается рассмотреть в чем опасность.

Иногда аргали продолжают стоять так долго, что спрятавшемуся охотнику можно успеть вновь зарядить даже и не огнестрельное ружье. Монголы говорили нам, что если повесить какой-нибудь предмет (например, одежду), который обратит на себя внимание аргали, то звери долго будут стоять на одном месте, рассматривая диковинку, а охотник тем временем может подкрасться к ним с удобной стороны. Сам я только однажды испытал подобный способ, повесив на воткнутый в землю шомпол свою красную рубашку и привлеки этим на четверть часа внимание убежавшего стада.

Убить наповал аргали чрезвычайно трудно, так как он удивительно крепок на рану.

Случалось, что, пробитый пулей насквозь в грудь, с разорванными внутренностями, зверь еще пробежал несколько сот шагов и только там падал мертвым. Если один из стада убит и упал, то остальные его товарищи обыкновенно останавливаются, отбежав немного, и смотрят на своего собрата; в это время они делаются еще смелее относительно охотника. Голоса аргали я никогда не слышал.

Вообще аргали очень добрый зверь. Кроме человека, он подвергается преследованию со стороны волков, которые иногда ловят неопытных молодых. Впрочем, это едва ли удастся часто, так как аргали даже на ровном месте бегают очень быстро, а в скалах в несколько прыжков далеко оставляет за собой своего преследователя.

Рассказы о том, что самец в случае опасности бросается в глубокие пропасти на свои рога, чтобы не разбиться, чистой выдумка. Я лично несколько раз видел, как самец прыгал с высоты от 3 до 5 сажень, но он всегда падал на ноги и даже старался скользнуть по скале, чтобы уменьшить силу удара.

Прошел май, лучший из весенних месяцев, но далеко не таковым был он в здешних местах. Постоянные ветры, преимущественно северо-западные и юго-западные, продолжали господствовать с такой же силой, как и в апреле; утренние морозы стояли до половины описываемого месяца, а 24 и 25-го числа были еще порядочные метели. Рядом с холодами выпадали, хотя и редко, сильные жары, дававшие чувствовать, что мы находились под 41 северной широты. Притом хотя погода по большей части стояла облачная, но дожди шли редко, а это обстоятельство вместе с перемежающимися холодами сильно задерживало развитие растительности. Даже в конце мая трава только что поднималась от земли и, рассаженная редкими кустиками, почти вовсе не прикрывала грязно-желтого фона песчано-глинистой почвы здешних степей. Правда, кустарники, изредка растущие по горам, большей частью были в цвету, но, низкие, корявые, усаженные колючками, притом же разбросанные небольшими кучами между камнями, они мало оживляли общую картину горного ландшафта.

Поля, обрабатываемые китайцами, также еще не зеленели, так как вследствие поздних морозов хлеба здесь сеют обыкновенно в конце мая или в начале июня.

Словом, на всей здешней природе виднелась печать апатии и полного отсутствия энергичной жизни; все гармонировало между собой, хотя и в отрицательную сторону.

Даже певчих птиц было очень немного, да и тем некогда петь при постоянных бурях.

Идешь, бывало, по долинам или горам и только изредка запоет чеккан, стренатка или жаворонок, закаркает ворон, отрывисто свистнет пищуха и громко закричит клушица; затем все тихо, уныло, безжизненно...

Направляясь к Желтой реке и не имея проводника, мы шли по расспросам. Мы блудили почти на каждом переходе и иногда делали понапрасну десяток или более верст.

Как назло, приходилось часто идти по местности с густым китайским населением, всякие затруднения еще более увеличивались.

Обыкновенно при нашем проходе через деревню поднималась большая суматоха: все старые и малые выбегали на улицу, лезли на заборы или на крыши и смотрели на нас с тупым любопытством. Собаки лаяли целым кагалом и бросались драться к нашему Фаусту; испуганные лошади брыкались, коровы мычали, свиньи визжали, куры с криком уходили куда попало словом, творился страшный шум и хаос. Пропустив верблюдов, один из нас оставался, чтобы расспросить дорогу. Тут походили к нему китайцы, но вместо прямого ответа на вопрос они начинали осматривать и щупать седло или сапоги, удивляться оружию, расспрашивать, куда мы, откуда, зачем и т. д.

Рассказ же о дороге отлагался в сторону, и только в лучших случаях китаец указывал рукой направление пути. При множестве пересекающихся дорог между деревнями такое указание, конечно, не могло служить достаточным руководством, так что мы шли наугад до другой деревни, где повторялась та же самая история.

* * * Ордосом называется страна, лежащая в северном изгибе Хуан-хэ и ограниченная с трех сторон с запада, севера и востока названной рекой, а с юга прилегающая к провинциям Шэнь-си и Гань-су. Южная граница обозначается той же самой Великой стеной, с которой мы познакомились у Калгана. Как там, так и здесь эта стена отделяет культуру и оседлую жизнь собственно Китая от пустынь высокого нагорья, где возможно только кочевое, пастушеское состояние народа.

По своему физическому характеру Ордос представляет степную равнину, прорезанную иногда по окраинам невысокими горами.

Почва везде песчаная или глинисто-соленая, неудобная для возделывания.

Исключение составляет только долина Хуанхэ, где является оседлое китайское население. Абсолютная высота описываемой страны, вероятно, заключается между 3 000-3 500 футов, так что Ордос составляет переходный уступ к Китаю со стороны Гоби; от последней он отделяется горами, стоящими по северную и восточную стороны Желтой реки.

Переправившись в Ордос, мы решили двинуться далее не кратчайшим диагональным путем, но по самой долине Желтой реки. Путь этот представлял более интереса для изысканий зоологических и ботанических, нежели пустынная внутренность Ордоса; сверх того, нам хотелось разрешить вопрос о разветвлении Хуан-хэ на ее северном изгибе.

Мы прошли по берегу Желтой реки 434 версты от переправы против города Бауту до города Дын-ху, и результатом произведенных изысканий явился тот факт, что разветлений Хуан-хэ при северном ее изгибе не существует в том виде, как их обыкновенно изображают на картах, и река в этом месте переменяла свое течение. Долина Хуан-хэ в описываемой, части ее течения имеет ширину от 30 до 60 верст и наносную глинистую почву. На северной стороне реки эта долина весьма расширяется западнее гор Муни-ула, тогда как на южном берегу в то же время она сильно суживается песками Кузупчи, близко подходящими к самой Хуан-хэ.

Пески Кузупчи здесь не прямо подходят к долине Хуан-хэ, но отделяются от нее песчано-глинистой окраиной, которая везде обрывается отвесной стеной футов в пятьдесят, иногда даже до ста, вышины и, по всему вероятно, некогда составляла берег самой реки.

Вышеупомянутая окраина покрыта небольшими (7-10 футов вышины) буграми, поросшими главным образом полевым чернобыльником (полынь полевая) и золотарником (карагана).

Здесь же встречается в большом количестве одно из характерных растений Ордоса, именно лакричный корень, называемый монголами «чихирсбуя», а китайцами «со» или «сого». Это растение принадлежит к семейству бобовых, имеет корень длиной в 4 фута или более при толщине до 2 дюймов у основания. Впрочем, таких размеров корень достигает в полном возрасте; у молодых же экземпляров он бывает не толще большого пальца руки, хотя также имеет в длину фута три и даже четыре. Для выкапывания описываемого корня употребляются железные лопаты с деревянными ручками.

Работа эта весьма тяжела, так как корень почти вертикально углубляется в твердую глинистую почву, притом же он растет в местностях безводных, где приходится работать под жгучими лучами солнца.

Партии промышленников, всего чаще монголов и монголок, нанятых китайцами, приходя на место сбора, устраивают центральное депо, куда ежедневно сносятся все добытые корни. Здесь их кладут в яму, чтобы предохранить от засыхания на солнце; затем у каждого отрезают тонкий конец и боковые отпрыски. Далее корни в виде палок связываются в пучки каждый весом в сто гинов, грузятся на барки и отправляются вниз по Хуан-хэ. Китайцы уверяли нас, что лакричный корень идет в Южный Китай, где из него приготавливают особенное прохладительное питье.

Пески Кузупчи состоят из невысоких (40–50, редко 100 футов) холмов, насаженных один возле другого и образовавшихся из мелкого желтого песка. Верхний слой этого песка, будучи сдуваем ветром то на одну, то на другую сторону холмов, образует здесь рыхлые насыпи, вроде снежных сугробов.

Неприятное, подавляющее впечатление производят эти оголенные желтые холмы, когда заберешься в их середину, откуда не видно ничего, кроме неба и песка, где нет ни растения, ни животного, за исключением лишь желто-серых ящериц, которые, бродя по рыхлой почве, изукрашили ее различными узорами своих следов. Тяжело становится человеку в этом, в полном смысле, песчаном море, лишенном всякой жизни: не слышно здесь никаких звуков, ни даже трещания кузнечика кругом тишина могильная... Недаром же местные монголы сложили несколько легенд про эти ужасные пески. Они говорят, что здесь было главное место подвигов двух героев Гэсэр-хана и Чингисхана, что, сражаясь с китайцами, эти богатыри убили множество людей, трупы которых, по воле божьей засыпаны были песком, принесенным ветром из пустыни. До сих пор еще, говорили нам с суеверным страхом монголы, в песках Кузупчи даже днем можно слышать стоны, крики и тому подобные звуки, которые производят души покойников. До сих пор еще ветер, сдувающий песок, иногда оголяет различные драгоценные вещи, как, например, серебряные сосуды, которые стоят совершенно наружу, но взять их невозможно, так как подобного смельчака тотчас же постигнет смерть.

Другое предание гласит, что Чингисхан, теснимый своими врагами, поставил пески Кузупчи как ограду с одной стороны, а реку Хуан-хэ заворотил с прежнего ее направления к северу и таким образом оградил себя от нападения.

На реке Хурай-хунды мы пробыли три дня, посвятив все это время охоте за чернохвостыми антилопами, которые встретились нам здесь в первый раз.

Чернохвостая антилопа джейран, или, как ее называют монголы, «хара-сульта», по своей величине и наружному виду очень много походит на дзерена, но отличается от него небольшим черным хвостом (7–8 дюймов длиной), который обыкновенно держит кверху и часто им помахивает. Эта антилопа обитает в Ордосе и в Гобицкой пустыне, распространяясь к северу приблизительно до 45 северной широты; к югу хара-сульта идет через весь Ала-шань до Гань-су, а затем, минуя эту провинцию, равно как и бассейн озера Куку-нор, вновь встречается в солоно-болотистых равнинах Цайдама.

Местом своего жительства описываемый зверь выбирает самые дикие, бесплодные части пустыни или небольшие оазисы в голых сыпучих песках. Совершенно противоположно дзерену хара-сульта избегает хороших пастбищ, но довольствуется самым скудным кормом, лишь бы только жить подальше от человека. Для нас всегда было загадкой, что пьет в таких местах хара-сульта.

Правда, судя по следам, она не отказывается приходить ночью к ключам и даже колодцам, но мы иногда встречали этого зверя в такой пустыне, где на сотню верст нет капли воды. Вероятно, описываемая антилопа может долго пробыть без питья, питаясь некоторыми сочными растениями из семейства солянковых.

Хара-сульты держатся обыкновенно в одиночку, парами или небольшими обществами от 3 до 7 экземпляров; очень редко удается встретить, и то зимой, стадо в 15–20 голов, а большего числа вместе мы не видали ни разу. Притом стадо всегда живет своим обществом и никогда не смешивается с дзеренами, если даже бродит с ними, что случается редко, на одних и тех же пастбищах.

Вообще описываемый зверь гораздо осторожнее дзерена. Обладая превосходным зрением, слухом и обонянием, он легко избегает хитростей охотника. Притом же хара-сульта, подобно другим антилопам, очень крепка на рану, и это обстоятельство усиливает трудность охоты.

Вечером и ранним утром хара-сульта ходят на покормку, но днем обыкновенно лежат, для чего в местностях холмистых всегда выбирают подветренную сторону холмов.

Лежачего зверя чрезвычайно трудно заметить, так как цвет его меха совершенно подходит под цвет песка или желтой глины. Несравненно удобнее высмотреть хара-сульту на пастбище или на вершине какого-нибудь холма, где этот зверь любит иногда стоять по целому часу. Тогда самый лучший случай охотнику, который непременно заранее должен увидеть антилопу, иначе подкрасться к ней будет невозможно.

Спугнутая хара-сульта пускается на уход скачками, но, отбежав несколько сот шагов, останавливается, поворачивается в сторону охотника, несколько минут наблюдает, в чем дело, и затем опять скачет далее. Преследование по пятам ни к чему не ведет; можно наверное сказать, что зверь уйдет далеко и притом будет держать себя еще осторожнее прежнего.

Много потратили мы с товарищами времени и труда, чтобы убить первую хара-сульту.

Целых два дня проходили мы даром, и только на третье утро мне удалось убить великолепного самца, подкравшись к нему довольно близко. По-настоящему, одиночную хара-сульту, равно как и дзерена, не следует стрелять на расстоянии более 200 шагов, можно наверное сказать, что из десяти выстрелов девять пропадут даром. Однако подобное правило весьма трудно исполнять на практике. В самом деле, мы ходили уже час или два, беспрестанно взбираясь с одного песчаного холма на другой, ноги наши вязли по колено в сыпучий песок, пот льет с нас градом, и вдруг перед вами стоит желанный зверь на 200 шагов. Вы очень хорошо знаете, что ближе подойти невозможно, что при малейшей оплошности хара-сульта уйдет навсегда, что нужно дорожить каждым мгновением, наконец, в руках у вас штуцер, бьющий на отмеренное расстояние превосходно в самую малую мишень... Сообразив все это, скажите как не соблазниться выстрелом? Поднимаете прицел, приложите, выделите как можно лучше... грянул выстрел, и пуля взрывает песок, не долетая или перелетая через антилопу, которая мгновенно скрывается из глаз. Сконфуженный и огорченный такой неудачей, пойдешь, бывало, к тому месту, где стоял зверь, отмеришь расстояние и увидишь, что ошибся на 40 шагов или даже более. Ошибка грубая, но она неминуемо произойдет, когда нужно определить расстояние вдруг, часто лежа или едва высунув из-за бугра голову и не имея возможности видеть промежуточные предметы. Без сомнения, штуцер с большой настильностью полета пули в данном случае всего пригоднее, но такого ружья у нас не было в первый год экспедиции...

Минуя дабасуннорскую дорогу, мы направились по долине Хуан-хэ и через день пути встретили еще одну, разоренную дунганами, кумирню, по имени Шара-дзу. В этой кумирне, одной из обширнейших во всем Ордосе, некогда жило до 2 000 лам и два или три гыгена, но теперь не было ни души человеческой. Только стада каменных голубей, клушиц и ласточек гнездились в опустошенных храмах и фанзах. Эти последние, то есть фанзы, расположены вокруг кумирни и большей частью сохранились в целости, но главный храм сожжен вместе со всеми пристройками, находившимися в общей ограде. Глиняные статуи богов разбиты или разрублены на куски и валяются на земле; некоторые из них еще сидят на своих местах, но изрублены саблями и исколоты пиками. Огромная

статуя Будды, находившаяся в главном храме, стоит с пробитой грудью, в которой дунгане искали сокровищ, часто сохраняемых здесь ламами. Листы священной книги Ганчжур везде разметаны по полу вместе с другими обломками, покрытыми толстым слоем пыли.

А между тем еще так недавно сюда стекались тысячи и тысячи народа, чтобы поклониться воображаемой святыне. Как и в других кумирнях, здесь все было рассчитано на то, чтобы завлечь и напугать детское воображение монголов. Многие боги изображены с самыми свирепыми и страшными лицами; они сидят то на львах, то на слонах, быках или лошадях, то давят чертей, змей и тому подобное. Стены кумирни, там, где они уцелели, разрисованы также картинами подобного рода.

"Как же вы веруете в глиняных богов?" спросил я у монгола, вместе с которым ходил по развалинам кумирни. "Боги наши, отвечал он, только жили в этих идолах, а теперь они улетели на небо".

От кумирни Харганты далее вверх по южной стороне Хуан-хэ мы уже не встречали населения, и только раза два-три нам попадались небольшие стойбища монголов, занимавшихся добыванием лакричного корня. Причиной такого опустения было, как упомянуто выше, дунганское нашествие, которому Ордос подвергся за два года до нашего посещения. Впрочем, оседлое китайское население на южном берегу Хуан-хэ, западнее меридиана Муни-ула, и прежде было незначительно, так как долина Желтой реки здесь сильно суживается песками Кузупчи; притом почва делается солонцеватой и большей частью покрыта сплошными зарослями лозы или тамариска. В этих кустарниках мы нашли весьма замечательное явление одичавший рогатый скот; о нем мы слышали еще ранее от монголов, которые объяснили нам и происхождение такого скота.

Прежде, до дунганского разорения, ордосские монголы имели большие стада, и иногда случалось, что быки или коровы отбивались от этих стад, бродили по степи и делались до того дикими, что изловить их было чрезвычайно трудно. Эти одичавшие животные держались там и сям по всему Ордосу. Когда же дунгане ворвались в эту сторону с юго-запада и начали все истреблять на своем пути, то многие жители, застигнутые врасплох, бросали имущество и убегали, думая только о собственном спасении. Оставленные ими стада паслись без присмотра и вскоре так одичали, что инсургенты не могли их поймать и забрать с собой. Затем дунгане ушли из Ордоса, а одичавшие животные продолжают бродить на свободе и держатся главным образом в кустарниках долины Хуан-хэ, так как имеют здесь под боком воду и пастбища.

Одичавший рогатый скот встречается обыкновенно небольшими обществами, от 5 до 15 экземпляров; только старые быки ходят в одиночку. Замечательно, как быстро столь неуклюжие и отупевшие создания приобрели все привычки диких животных. Целый день коровы лежат в кустах, видимо скрываясь от людей, но с наступлением сумерек выходят на пастбища, где проводят ночь.

Заметив человека или почуяв его по ветру, не только быки, но даже коровы тотчас же пускаются на уход и бегут далеко.

Дикими свойствами и резвостью отличаются молодые экземпляры, родившиеся и выросшие уже на воле.

Охота за одичавшим скотом довольно затруднительна, и мы за все время пребывания своего в Ордосе убили только четырех быков. Монголы совсем не предпринимают подобных охот, так как боятся еще идти в Ордос, а с другой стороны, крепкое животное легко выносит удар фитильного гладкоствольного ружья, пуля которого обыкновенно состоит из кусочка чугуна или камешка, облитого свинцом. Устроив правильные облавы, в особенности зимой, в кустах, где держится одичавший скот, можно без труда перебить множество этих животных, число которых во всем Ордосе монголы полагают приблизительно до 2 000 голов.

Без сомнения, этот скот со временем будет истреблен или переловлен теми же самыми монголами, которые возвратятся в Ордос.

Здесь нет ни обширности, ни приволья травяных равнин Южной Америки, где, как известно, расплодилось громадное стадо от немногих экземпляров, ушедших из испанских колоний.

По словам монголов, вскоре после разорения Ордоса в здешних степях водились также одичавшие овцы, но они теперь все истреблены волками; верблюды же еще бродят в небольшом числе, и нам удалось поймать одного, впрочем молодого.

В первый раз мы встретили одичавший скот в 30 верстах западнее кумирни Шара-дзу.

Так как мяса у нас в запасе не имелось, то мы решили воспользоваться столь удобным случаем, чтобы добыть себе продовольствие. Однако сначала охота наша была неудачна, именно потому, что мы слишком рассчитывали на тупоумие коров; наконец на третий день, рано утром, я подкрался очень близко к двум быкам, дравшимся между собой в кустах, и двойным выстрелом из охотничьего штуцера положил обоих бойцов на месте.

Такая удача была весьма радостным для нас событием, так как теперь мы могли засушить себе в дорогу несколько пудов мяса.

Перетащив лучшие части убитых животных к своей палатке, мы принялись резать говядину тонкими пластами для просушки ее на солнце. Такая приманка привлекла множество коршунов, так что пришлось с ружьем в руках караулить развешенное мясо; вместе с коршунами являлись орланы-долгохвосты и попадали за это в нашу коллекцию.

Пока сушилось мясо, мы занимались рыбной ловлей в пересохшем рукаве Хуан-хэ, возле которого стояли. Здесь, в небольших и неглубоких ямах, где сохранилась вода, держалось множество рыбы, так что мы своим небольшим бреднем, длиной всего в 3 сажени, ловили в непродолжительное время по 2–3 пуда карпов и сомов; последний вид очень часто попадает в Хуан-хэ. Из пойманной рыбы мы выбирали для себя лучшую, а остальную отпускали обратно. 19 августа мы двинулись в путь. Пески Кузупчи по-прежнему протянулись слева, а справа наша дорога определялась течением Хуан-хэ. Местами густые кустарники весьма затрудняли следование, да, кроме того, множество комаров и мошек сильно надоедало как нам, так и нашим верблюдам. Последние в особенности не любят этих насекомых, которых нигде нет в пустынях Монгольского нагорья.

Летние жары, приутихшие было в половине августа, в последней трети этого месяца возобновились с прежней силой и опять страшно истомляли нас в пути. Хотя мы всегда вставали с рассветом, но укладка вещей и выючение верблюдов, вместе с питьем чая без чего ни монгол, ни казаки ни за что на свете не шли в дорогу отнимали часа два и более времени, так что мы трогались в путь, когда солнце уже порядочно поднималось на

горизонте. На последнем зачастую не видно было ни одного облачка, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка и все это обыкновенно служило для нас нерадостным предзнаменованием жаркого дня.

Порядок наших вьючных хождений всегда был один и тот же. Мы с товарищем ехали впереди своего каравана, делали съемку, собирали растения или стреляли попадавшихся птиц; вьючные же верблюды, привязанные за бурундуки один к другому, управлялись казаками. Один из них ехал впереди и вел в поводу первого верблюда, а другой казак вместе с проводником-монголом, если таковой был у нас, замыкали шествие.

Так идешь, бывало, часа два, три по утренней прохладе; наконец солнце поднимается высоко и начинает жечь невыносимо.

Раскаленная почва пустыни дышит жаром, как из печи. Становится очень тяжело: голова болит и кружится, пот ручьем льет с лица и со всего тела; чувствуешь полное расслабление и сильную усталость. Животные страдают не менее нас.

Верблюды идут, разинув рты и облитые потом, словно водой; даже наш неутомимый Фауст бредет шагом, понурив голову и опустив хвост. Казаки, которые обыкновенно поют песни, теперь смолкли, и весь караван тащится молча, шаг за шагом, словно не решаясь передавать друг другу и без того тяжелые впечатления.

Если на счастье попадетесь дорогой монгольская юрта или китайская фанза, то спешишь туда со всех ног, намочишь голову и фуражку, напьешься воды, а также напоишь лошадей и собаку; разгоряченным же верблюдам воды давать нельзя. Однако такая отрада продолжается недолго: через полчаса или менее все сухо по-прежнему, и опять жжет тебя палящий зной.

Наконец приближается полдень надо подумать об остановке. "Далеко ли до воды?" спрашиваешь у встречного монгола и с досадой услышишь, что нужно пройти еще 5–6 верст. Добравшись наконец до колодца и выбрав место для палатки, мы начинаем класть и развьючивать верблюдов.

Привычные животные уже знают в чем дело и сами поскорее ложатся на землю. Затем ставится палатка и стаскиваются в нее необходимые вещи, которые раскладываются по бокам; в середине же расстилается войлок, служащий нам постелью. Далее собирается аргал и варится кирпичный чай, который летом и зимой был нашим обычным питьем, в особенности там, где вода оказывалась плохого качества. После чая, в ожидании обеда, мы с товарищем укладываем собранные дорогой растения, делаем чучела птиц, или, улучив удобную минуту, я переносу на план сделанную сегодня съемку.

Такая работа в жилых местах обыкновенно прерывается несколько раз по случаю прихода монголов из ближайших юрт; эти гости, как обыкновенно, лезут со всевозможными расспросами или просьбами и в конце концов так надоедают, что мы их прогоняем вон.

Между тем пустой желудок сильно напоминает, что время обеда уже наступило, но, несмотря на это, нужно ждать, пока сварится суп из зайцев или куропаток, убитых дорогой, или из барана, купленного у монголов. Впрочем, последнее кушанье мы имели редко, так как часто вовсе нельзя было купить барана или нужно было платить очень дорого; поэтому охота составляла главный источник нашего продовольствия.

Часа через два по приходе на место обед готов, и мы принимаемся за еду с волчьим аппетитом. Сервировка у нас самая простая, вполне гармонирующая с прочей обстановкой: крышка с котла, где варится суп, служит блюдом, деревянные чашки, из которых пьем чай, тарелками, а собственные пальцы заменяют вилки; скатерти и салфеток вовсе не полагается. Обед оканчивается очень скоро; после него мы снова пьем кирпичный чай; затем идем на экскурсию или на охоту, а наши казаки и монгол-проводник поочередно пасут верблюдов.

Наступает вечер; потухший огонек снова разводится; на нем варятся каша и чай.

Лошади и верблюды пригоняются к палатке, и первые привязываются, а последние, сверх того, укладываются возле наших вещей или неподалеку в стороне. Ночь спускается на землю; дневной жар спал и заменился вечерней прохладой. Отрадно вдыхаешь в себя освеженный воздух и, утомленный трудами дня, засыпаешь спокойным, богатырским сном.

Южная часть высокого нагорья Гоби, к западу от среднего течения Хуан-хэ, представляет собой дикую и бесплодную пустыню, населенную монголами-олютами и известную под именем «Ала-шань», или Заордос. Страна эта наполнена голыми сыпучими песками, которые тянутся к западу до реки Эцзинэ, на юге упираются в высокие горы провинции Гань-су, а на севере сливаются с бесплодными глинистыми равнинами средней части Гобийской пустыни.

Алашаньская пустыня на многие десятки, даже сотни верст представляет одни голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом. Иногда эти пески так обширны, что называются монголами «тынгери», то есть «небо». В них нигде нет капли воды; не видно ни птицы, ни зверя, и мертвое запустение наполняет невольным ужасом душу забредшего сюда человека.

Ордосские Кузупчи в сравнении с ала-шаньскими кажутся миниатюрой; притом же там, хоть изредка, можно встретить оазисы, покрытые свежей растительностью. Здесь нет даже и подобных оазисов; желтый песок тянется на необозримое пространство или сменяется обширными площадями соленой глины, а ближе к горам голой гальки.

Растительность, там, где она есть, крайне бедна и заключает в себе лишь несколько видов уродливых кустарников и несколько десятков пород трав. Между теми и другими на первом плане следует поставить саксаул, называемый монголами заком, и траву сульхир.

В Ала-шане саксаул является деревом от 10 до 12 футов вышины, при толщине в 0,5 фута, и растет редким насаждением всего чаще на голом песке. На поделки описываемое дерево негодно, потому что крохко и дрябло; зато оно горит превосходно.

Безлистные, но сочные и торчащие, как щетка, ветви зака составляют главное питание алашаньских верблюдов. Кроме того, под защитой этих деревьев монголы ставят свои юрты и укрываются здесь лучше, нежели в голой степи, от зимних холодов; в подобных же местах, то есть там, где растет зак, говорят, можно скорей достать воду посредством колодцев.

Как бедна флора Ала-шаня, так небогата и его фауна. Крупных млекопитающих в пустыне нет никаких, кроме хара-сульты; затем здесь встречаются волк, лисица, заяц, а в зарослях зака изредка еж. Из мелких грызунов в обилии попадаются только два вида

песчанок; один из них живет исключительно в зарослях зака и до того дырявит землю своими норами, что часто совершенно нельзя ехать верхом.

Целый день слышится писк этих зверьков, столь же скучный и однообразный, как вся вообще природа Ала-шаня.

Среди птиц самой замечательной следует считать холо-джоро*, которая величиной почти с нашу сойку, а на лету напоминает удода. * Это монгольское имя в переводе означает "саврасый иноходец" и дано названному виду за его быстрый бег, напоминающий рысь иноходца. (Примеч. редактора.)

Это в полном смысле птица пустыни и встречается исключительно в самых диких ее частях. Чуть только местность принимает лучший характер, холо-джоро исчезает; поэтому она вместе с хара-сультой служит для путешественника всегда нерадостным явлением. По нашему пути холо-джоро встречалась до Гань-су, а затем вновь появилась в Цайдаме; на север она распространяется в Гоби, приблизительно до 44 30 северной широты.

Пролет птиц, начавшийся в конце августа, много усилился в сентябре, так что в первой трети этого месяца считалось в пролете уже 18 видов. Но пролетные птицы следуют главным образом по долине Хуанхэ и только в небольшом числе перелетают Алашаньскую пустыню. Жутко иногда приходится здесь этим крылатым странникам. Многие из них, истомленные жаждой или голодом, погибают в пустыне, и я несколько раз находил здесь мертвых дроздов, у которых по вскрытии желудок оказывался совершенно пустым. Мой товарищ однажды встретил в сухом ущелье, почти близ самого гребня высоких Алашаньских гор, кряковую утку, до того обессиленную, что ее можно было поймать руками.

Летние жары теперь кончились, так что мы без особенного утомления делали свои переходы. Сыпучие пески, сложенные небольшими холмами, как и в Ордосе, расстились вокруг нас безграничной желтой площадью, убегающей за горизонт.

Тропинка вилась между ними по зарослям саксаула и переходила менее узкие рукава самых песков, там, где они становились поперек дороги. Беда заблудиться, гибель тогда путнику верная, в особенности летом, когда пустыня накаляется, словно печь. 14 сентября мы пришли в город Дынь-юань-ин и в первый раз за все время экспедиции встретили радушный прием от местного князя, по приказанию которого навстречу нам выехали трое чиновников и проводили нас в заранее приготовленную фанзу.

Впрочем, еще за целый переход до города нас также встретили три чиновника, посланные князем узнать, кто мы такие. Одним из первых вопросов этих посланцев было: не миссионеры ли мы? и когда был дан отрицательный ответ, то нам начали жать руки и объяснять, что в случае, если бы мы оказались миссионерами, князь не велел пускать нас к себе в город. Вообще в числе причин, обусловивших успех путешествия, на видном месте следует поставить то обстоятельство, что мы никому не навязывали своих религиозных воззрений.

Дынь-юань-ин состоит из крепости, глиняная стена которой имеет полторы версты в окружности. Во время нашего посещения стена эта была приведена в оборонительное положение, и на ее зубцах везде были сложены камни или бревна для отбития неприятельского штурма. Впереди главной стены, с северной стороны, устроены также из глины три небольших укрепления, обнесенные палисадом.

Внутри крепости живет сам князь; здесь также находятся китайские лавки и помещены монгольские войска. Вне главной ограды расположено было прежде несколько сот фанз, но они все сожжены дунганами, которые, однако, не могли взять самую крепость.

Зато все, что находилось вне ее, подверглось разорению, в том числе и загородный дворец князя, устроенный в одной версте от города и окруженный небольшим парком.

Этот парк, в котором прежде имелись даже пруды с водой, представляет очаровательное место в сравнении с унылым видом окрестной пустыни.

Такова наружность города Дынь-юань-ин. Обратимся к описанию его обитателей.

Среди них самой замечательной личностью служит, конечно, владетельный князь, или как его называют здесь, "амбань"*. * Имени князя узнать мы не могли, так как монголы считают грехом произносить имена своих начальников, а тем более передавать эти имена кому-либо чужому. (Примеч. автора.)

Он состоит в разряде князей второй степени владеет Ала-шанем на правах средневекового феодала. По своему происхождению этот князь монгол, но совершенно окитаившийся, тем более что он состоит в родственных связях с богдыханским домом, откуда получил в замужество одну из принцесс. Несколько лет тому назад эта жен, умерла.

Сам князь, человек лет сорока, имеет довольно благообразную физиономию, хотя всегда бледен, так как сильно предан курению опиума. По своему характеру он взяточник и деспот самого первого разбора Пустая прихоть, порыв страсти или гнева словом, личная воля заменяют всякие законы и тотчас же приводятся в исполнение без малейшего возражения с чьей бы то ни было стороны. Впрочем, такой порядок существует во всей Монголии и во всем Китае без исключений.

Запершись внутри своей фанзы, ала-шаньский князь все время проводит в курении опиума и никогда не показывается на улице; в прежнее время он часто ездил в Пекин, но теперь восстание дунган прекратило подобные поездки.

Амбань имеет трех взрослых сыновей, из которых старший со временем будет его наследником.

Следует упомянуть еще об одном ламе, по имени Балдын-Сорджи, который состоит при князе и его детях в качестве доверенного лица, исполняющего разные поручения.

Сорджи в ранней юности бежал в Тибет, пристроившись к каравану богомольцев; проведя в Лассе восемь лет, он изучил буддийскую мудрость и возвратился обратно в Ала-шань уже ламой. От природы хитрый и сметливый, Сорджи вскоре приобрел расположение амбана и сделался его приближенным. По поручению князя он каждый год ездит в Пекин за различными покупками и даже один раз был в Кяхте, а потому знает русских.

Для нас Сорджи был чрезвычайно полезен своей услужливостью и тем значением, каким он пользовался в городе. Без него мы, быть может, не встретили бы столь радушного приема со стороны князя и его сыновей. Сорджи находился также в числе трех лиц, высланных князем вперед узнать, кто мы такие. Он потом объяснил алашаньскому

амбаню, что мы действительно русские, а не какие-либо другие иностранцы. Впрочем, монголы всех европейцев крестят общим именем русских, так что обыкновенно говорят: русские-французы, русские-англичане, разумея под этими именами французов и англичан; притом номады везде думают, что эти народы находятся в вассальной зависимости от цаган-хана, то есть белого царя...

Через два дня по приходе в алашаньский город мы имели свидание с двумя младшими сыновьями князя гыгеном* и Сия, через пять дней со старшим их братом и только через восемь дней с самим амбанем. * Г ы г е н одно из высоких званий буддийской церкви. (Примеч. редактора.)

Всем им необходимо было сделать подарки, о которых нас спрашивали еще высланные навстречу чиновники. Не имея с собой для подобной цели никаких особенных вещей, я подарил самому князю карманные часы и испортившийся анероид; сыновьям бинокль и различные мелочи, главным образом охотничьи принадлежности и порох. В ответ на это мы получили от князя и его сыновей также подарки довольно ценные: пару лошадей, мешок ревеня и голову русского сахара, которая попала в Ала-шань из Кяхты. Кроме того, наши приятели подарили нам на память о них: мне серебряный браслет, а моему товарищу золотое кольцо.

Вообще как сам амбань, так, в особенности, сыновья были очень расположены к нам и постоянно старались выказать это расположение. Они каждый день присылали нам из своего сада целые коробки арбузов, яблок и груш, которые мы истребляли через меру после долгих лишений в пустыне. Старый князь прислал нам однажды обед из множества различных китайских кушаний. С сыновьями мы ездили несколько раз на охоту и довольно часто бывали у них по вечерам, беседуя иногда до глубокой ночи.

Хотя трудно было объясняться через переводчика, но все-таки мы проводили здесь время с удовольствием, тем более что освобождались от невольного ареста в своей фанзе. Молодые князья вели себя совершенно непринужденно, смеялись, шутили, и дело иногда доходило даже до разных игр и гимнастических упражнений. В беседах с нами сыновья с лихорадочным любопытством расспрашивали о Европе, тамошней жизни, людях, машинах, железных дорогах, телеграфах и т. д. Наши рассказы казались для них сказкой и пробуждали желание видеть все это собственными глазами; князья не шутя просили нас свозить их в Россию. Иногда нам приносили на показ различные европейские вещи, купленные в Пекине и Кяхте, как, например, револьверы, трости с кинжалом, машинки с игрой, часы и даже флаконы с одеколоном.

часть 3

Наконец, на восьмой день нашего пребывания в Дынь-юань-ине, мы получили приглашение на свидание с амбанем. Предварительно лама Сорджи, вероятно, по наущению самого князя, спрашивал у нас: каким образом мы будем приветствовать их повелителя по своему ли обычаю или по монгольскому, то есть падать на колени.

Получив, конечно, ответ, что мы будем кланяться князю по-европейски, Сорджи начал просить, чтобы перед амбанем стал на колени хотя бы наш казак-переводчик, но и в этом было решительно отказано.

Самое свидание происходило в восемь часов вечера в приемной фанзе амбана. Эта фанза очень хорошо убрана; в ней даже стоит большое европейское зеркало, купленное за 150 лан в Пекине. На столах в подсвечниках горели стеариновые свечи, и было приготовлено

для нас угощение из орехов, пряников, русских леденцов со стихами на обертках, яблок, груш и прочего.

Когда мы вошли и поклонились князю, то он пригласил нас сесть на приготовленные места, казак же стал у дверей. Кроме амбана, в фанзе находился китаец богатый пекинский купец, как я узнал впоследствии. В дверях фанзы и далее в прихожей стояли адъютанты князя и его сыновья, которые должны были присутствовать при нашем приеме.

После обычных расспросов о здоровье и благополучии пути амбань сказал, что, с тех пор как существует Ала-шань, в нем не был еще ни один русский, что он сам видит этих иностранцев в первый раз и очень рад нашему посещению.

Затем он начал расспрашивать про Россию: какая у нас религия, как обрабатывают землю, как делают стеариновые свечи, как ездят по железным дорогам и, наконец, каким образом снимают фотографические портреты? "Правда ли, спросил князь, что для этого в машину кладут жидкость человеческих глаз? Для такой цели, продолжал он, миссионеры в Тянь-дзине выкалывали глаза детям, которых брали к себе на воспитание; за это народ возмутился и умертвил всех этих миссионеров". Получив от меня отрицательный ответ, князь начал просить привезти ему машину для снимания портретов, и я едва мог отделаться от подобного поручения, уверив, что дорогой стекла машины непременно разобьются.

Наша аудиенция продолжалась около часа; на прощанье князь подарил казаку-переводчику 20 лан и разрешил нам сходить поохотиться в соседние горы. Сюда мы отправились на следующий день и разбили свою палатку в вершине ущелья, почти близ гребня самого хребта. Верблюды наши остались на попечении приятеля Сорджи в городе, равно как и казак, который опять заболел сильнее прежнего; причиной его болезни была главным образом тоска по родине. От князя были посланы с нами провожатые и еще один лама, вероятно, в качестве надсмотрщика.

Горы, в которых мы теперь поселились, находятся, как сказано выше, в 15 верстах к востоку от города Дынь-юань-ин и составляют границу между Ала-шанем и провинцией Гань-су. Весь хребет известен под именем Алашаньского. Он поднимается от самого берега Хуан-хэ в том месте, где с противоположной стороны в нее упирается ордосский Арбус-ула, то есть верстах в восьмидесяти девяносто южнее города Дын-ху.

Узкая, но очень высокая скалистая гряда Алашаньских гор, выдвинутая подземными силами, словно стена среди соседних равнин, представляет своим положением весьма характерную особенность. Тем более, что эти горы стоят совершенно обособленно и, сколько нам удалось узнать, не соединяются с хребтами верхней Хуан-хэ, но оканчиваются в песчаных пустынях Юго-Восточного Ала-шаня.

Интересны были наши охоты за горными баранами куку-яманами, которые во множестве обитают в Алашаньском хребте, избирая местом жительства самые дикие скалы верхнего пояса гор. Этот зверь ростом немного более обыкновенного барана. Цвет шерсти буровато-серый или буровато-коричневый; верх морды, грудь, передняя сторона ног, полоса, ограничивающая бока от брюха, и самый кончик хвоста черные; брюхо белое, задняя сторона ног изжелта-белая. Рога пропорционально велики, подняты от основания немного кверху, а концами загнуты назад. Самка немного меньше самца; цвет черных частей тела у нее не столь ярк; рога маленькие, плоские, почти прямостоячие.

Куку-яманы держатся в одиночку, парами или, наконец, небольшими стадами от 5 до 15 экземпляров. Как исключение, они собираются иногда в большие стада, и мой товарищ встретил однажды общество приблизительно в сотню экземпляров. В стаде один или несколько самцов принимают на себя должность вожаков и охранителей. При опасности они тотчас дают сигнал громким и отрывистым свистом, до того похожим на свист человека, что я в первый раз принял этот голос за сигнал охотника; самки также свистят, но только гораздо реже самцов.

Испуганный баран бросается опрометью на уход по скалам, часто совершенно отвесным, так что, смотря на него, недоумеваешь, каким образом это большое животное может так ловко лазить по самым неприступным местам. Для куку-ямана достаточно самого малого выступа, чтобы удержаться на нем в равновесии на своих толстых ногах. Иногда случается, что камень оборвется под тяжестью зверя и с грохотом полетит вниз; ну, думаешь, оборвался и баран, но он как ни в чем не бывало скачет далее по скале. Заметив охотника, в особенности если тот появился неожиданно и близко, куку-яман свистнет раза два-три и, сделав несколько скачков, останавливается рассмотреть, в чем опасность. В это время он представляет отличную цель для меткой пули; нужно только не мешкать, а то зверь, постояв несколько секунд, снова свистнет и пустится скакать далее. При спокойном состоянии, то есть вне опасности, куку-яман ходит шагом или тихим галопом, причем иногда держит голову вниз.

Куку-яман вообще очень осторожен и не пропускает без внимания ничего подозрительного. Обоняние, слух и зрение развиты у него превосходно; по ветру невозможно подойти к зверю и на 200 шагов. Перед вечером он выходит на пастбище, Любимым местом пастбища служат альпийские луга. Утром, когда солнце поднимется уже довольно высоко, куку-яман снова отправляется в родные скалы. Здесь он иногда по целым часам стоит на каком-нибудь выступе неподвижно, как истукан, и только изредка повертывает головой то в одну, то в другую сторону. Мне случалось видеть, что при подобном отдыхе зверь, помешавшийся на покатоности камня, имел свой зад выше головы, но такое положение, по-видимому, нисколько для него не затруднительно. В полуденные часы горные бараны ложатся отдыхать быкновенно на выступах скал и летом чаще на северной их стороне, вероятно, потому, что здесь прохладнее; иногда куку-яман здесь засыпает и при этом ложится на бок, вытягивая ноги, как собака.

Во время пребывания в Алашаньских горах мы с товарищем по целым дням охотились за описываемыми животными. Не зная местности, я брал с собой в проводники охотника-монгола, до тонкости изучившего горы и характер куку-яманов. Ранней зарей выходили мы из палатки и поднимались на гребень хребта, лишь только солнце показывалось из-за горизонта. В ясное и тихое утро панорама, расстилавшаяся отсюда перед нами по обе стороны гор, была очаровательная. На востоке узкой лентой блестела Хуан-хэ, и, словно алмазы, сверкали многочисленные озера, рассыпанные возле города Нин-ся. К западу широкой полосой уходили из глаз сыпучие пески пустыни, на желтом фоне которых, подобно островам, пестрели зеленеющие оазисы глинистой почвы. Вокруг нас царил тишина, изредка нарушаемая голосом оленя, зовущего свою самку.

Иногда целые полдня проводили мы, высматривая баранов, и все-таки не находили их.

Нужно иметь соколиное зрение, чтобы отличить на большом расстоянии серую шкуру куку-ямана от такого же цвета камней или, что еще хуже, разглядеть животное, лежащее в кустах. Мой проводник видел далеко; случалось, что он на несколько сот шагов замечал одни рога животного, которые я не мог разглядеть даже в бинокль.

Затем мы начинали подкрадываться к замеченному зверю. Для этого иногда нужно было обходить очень далеко, спускаться почти в отвесные пропасти, прыгать с камня на камень или через широкие трещины, лепиться по карнизам утесов словом, с каждым шагом быть на краю опасности. Руки царапались в кровь, сапоги и платье рвались немилосердно, но все это забывалось в надежде выстрелить по желанному зверю. Но увы! Эти надежды часто разрушались самым немилосердным образом.

Случалось, что во время подкрадывания нас замечал другой куку-яман и свистом давал знать об опасности своему собрату, или оборвавшийся под ногами камень предупреждал осторожного зверя и он в одно мгновение скрывался из глаз. Обида в подобных случаях была сильная: все труды пропали даром; и снова начинали мы прежнюю историю, то есть высматривали и выслушивали других куку-яманов.

Но когда дело поворачивало в лучшую сторону и нам удавалось подкрасться к барану шагов на двести или на сто пятьдесят, а иногда и того ближе, тогда с замирающим сердцем высовывал я свой штуцер из-за обрыва скалы, прицеливался и через мгновение выстрел уже гремел отрывистыми перекатами по ущельям диких гор, а простреленный куку-яман падал на камень или катился вниз, оставляя широкий кровавый след. Иногда же, будучи только ранен, баран бросался на уход; тогда пускался в дело другой ствол штуцера, и вторая пуля укладывала зверя. Вообще куку-яман чрезвычайно крепок на рану и часто уходит даже смертельно раненный.

Мне случилось однажды пробить самку этого зверя раз за разом тремя пулями в бок, шею и зад, и она все-таки еще бегала в продолжение четверти часа.

Спустившись к убитому барану, мы потрошили его, причем монгол забирал все внутренности и даже кишки, выжав из них предварительно содержимое; затем он связывал ноги зверя, забрасывал его на спину, и с этой тяжелой ношей мы шли к своей палатке.

Когда весенняя засуха выжжет всю траву на горах, тогда куку-яманы питаются листьями и не отказываются для этого даже залезать на деревья. Конечно, такой случай может быть исключением, но я сам видел в мае 1871 года в крайнем хребте долины левого берега Хуан-хэ двух этих зверей на развесистом ильме сажени две вышиной. Заметив баранов на дереве не далее 60 шагов от себя, я сначала не поверил глазам и опомнился только тогда, когда животные соскочили на землю и пустились на уход. Один из них тут же поплатился жизнью.

Вообще куку-яманы, как сказано выше, великие мастера лазанья, но и они иногда попадают в безвыходное положение. Так, однажды в горах озера Куку-нор я застал на огромной скале стадо из 12 экземпляров. Каким образом оно забралось туда, я до сих пор не могу объяснить, потому что скала с трех сторон была совершенно отвесна, а с четвертой примыкала к каменной россыпи, по которой можно было пройти разве только мыши. Параллельно вышеописанной скале тянулась в расстоянии 100 шагов от нее другая, на которую доступ был гораздо легче и откуда я вдруг увидел куку-яманов. Старый самец стоял прямо против меня на таком узком карнизе, что едва мог уместить свои копыта. Я пустил в него пулю, которая пробила зверя позади груди.

Несколько мгновений стоял он, шатаясь, видя гибель неминуемую. Наконец силы изменили... скользнуло одно копыто, потом другое, и красивый зверь полетел в пропасть сажень шестьдесят глубиной. Глухими перекатами раздалось эхо грохнувшей тяжести.

Испуганное стадо не знало, на что решиться, и, сделав несколько прыжков вдоль гребня скалы, опять остановилось.

Раздался другой выстрел и самка рухнула в то же самое ущелье, куда перед тем упал самец. Зрелище было потрясающее. Я сам не мог удержаться от волнения, видя, как два больших зверя, кувыркаясь, полетели в страшную глубину. Но страсть охотника превозмогла силу впечатления. Я снова зарядил свой штуцер и снова пустил две пули в куку-яманов, которые не знали, куда деваться от испуга. Так стрелял я с одного места семь раз, пока наконец звери не решились на отчаянное дело: они спустились вниз по гребню скалы и спрыгнули здесь с обрыва сажен в двенадцать вышиной.

После двухнедельного пребывания в Ала-шаньских горах мы вернулись в Дынь-юань-ин и решили отсюда идти обратно в Пекин, чтобы запастись там деньгами и всем необходимым для нового путешествия. Действительно, как ни тяжело было отказаться от намерения идти на озеро Куку-нор, до которого оставалось только около 600 верст следовательно, менее месяца пути, но иначе поступить было невозможно.

Несмотря на бережливость, доходившую до скряжничества, у нас по приходе в Ала-шань осталось менее 100 рублей денег, так что только продажей товаров и двух ружей мы могли добыть, средства на обратный путь.

Кроме того, находившиеся при нас казаки оказались ненадежными и ленивыми, а с такими сподвижниками невозможно было предпринять, новый путь, более трудный и опасный, нежели пройденный. Наконец, паспорт из Пекина у меня был только до Гань-су, так что, опираясь на это, нас могли и не пустить в названную провинцию.

С тяжелой грустью, понятной лишь для человека, достигшего порога своих стремлений и не имеющего возможности переступить, этот порог, я должен был покориться необходимости и повернул в обратный путь.

Утром 15 октября мы оставили город Дынь-юань-ин и направились обратно в Калган.

Теперь нам предстоял далекий, трудный путь, так как от Дынь-юань-ина до Калгана расстояние (по Монголии) около 1 200 верст, которые мы должны были пройти без остановок. Между тем приближалась зима с сильными морозами и ветрами, столь обыкновенными в Монголии в это время года. Наконец, к довершению зол, мой спутник Михаил Александрович Пыльцов вскоре по выходе из Дынь-юань-ина заболел тифозной горячкой так сильно, что мы принуждены были простоять девять дней возле ключа Хараморитэ в северных пределах Ала-шаня.

Положение моего товарища становилось тем опаснее, что он вовсе был лишен медицинской помощи, и хотя мы имели с собой некоторые лекарства, но мог ли я удачно распорядиться ими, не зная медицины. К счастью, молодая натура переломила, и Михаил Александрович, все еще слабый, мог кое-как сидеть на лошади, хотя ему приходилось иногда так круто, что он падал в обморок. Тем не менее мы должны были идти день в день, от восхода до заката солнца.

В конце ноября мы оставили долину Желтой реки и поднялись через Шохоин-да-бан на более высокую окраину Монгольского нагорья, где опять наступили сильные холода.

Морозы на восходе солнца доходили до $-32,7\text{ C}$; к ним присоединялись часто сильные ветры и иногда метели. Все это происходило почти на тех же самых местах, где летом нас дожимали жары до $+37\text{ C}$.

Таким образом, путешественнику в среднеазиатских пустынях приходится выносить то палящий зной, то сибирский холод, и переход от одной крайности к другой чрезвычайно крут.

Во время пути холод не так сильно чувствовался, потому что мы большею частью шли пешком. Только мой товарищ, все еще слабый и неоправившийся, должен был, закутавшись в баранью шубу, сидеть на лошади по целым дням. Зато на месте ночлега зима давала себя знать. Как теперь, помню я это багровое солнце, которое пряталось на западе, и синюю полосу ночи, заходившую с востока. В это время мы обыкновенно развьючивали верблюдов и ставили свою палатку, расчистив предварительно снег, правда не глубокий, но мелкий и сухой, как песок. Затем являлся чрезвычайно важный вопрос насчет топлива, и один из казаков ехал в ближайшую монгольскую юрту купить аргала, если он не был приобретен заранее дорогой. За аргал мы платили дорого, но это все еще было меньшее зло; гораздо хуже становилось, когда нам вовсе не хотели продать аргала, как это несколько раз делали китайцы. Однажды пришлось так круто, что мы принуждены были разрубить седло, чтобы вскипятить чай и удовольствоваться этим скромным ужином после перехода в 35 верст на сильном морозе и метели.

Когда в палатке разводился огонь, то становилось довольно тепло, по крайней мере, для той части тела, которая непосредственно была обращена к очагу; только дым щипал глаза и делался в особенности несносным при ветре. Во время ужина пар из открытой чаши с супом до того наполнял нашу палатку, что она напоминала в это время баню, только, конечно, не температурой воздуха. Кусок вареного мяса почти совсем застывал во время еды, а руки и губы покрывались слоем жира, который потом приходилось соскабливать ножом. Фитиль стеариновой свечи, заживавшейся иногда во время ужина, вгорал так глубоко, что нужно было обламывать наружные края, которые не растаивали от огня.

На ночь мы обкладывали палатку всеми вьюками и возможно плотнее закупоривали вход, но все-таки холод в нашем обиталище был немногим меньше, чем на дворе, так как огня не разводилось от ужина до утра. Спали мы все под шубами или под бараньими одеялами и обыкновенно всегда раздевались, чтобы хорошенько отдохнуть.

Собственно, спать было довольно тепло, так как мы закутывались в свои покрывала вместе с головой, а иногда накрывались сверху еще войлоками; мой товарищ постоянно клал с собой Фауста, который всегда был очень рад подобному приглашению.

Редкая ночь проходила спокойно. Бродившие кругом волки часто пугали верблюдов и лошадей, а монгольские или китайские собаки иногда приходили воровать мясо и без церемонии забирались в самую палатку. Такие воры обыкновенно платились жизнью за свое нахальство. Тем не менее после всякого подобного эпизода не скоро согревался тот, кому приходилось вставать, чтобы уложить вскочивших верблюдов, выстрелить в волка или воровку-собаку.

Утром мы вскакивали разом и, дрожа от холода, поскорее варили кирпичный чай; затем складывали палатку, вьючили верблюдов и с восходом солнца по трескучему морозу отправлялись в дальнейший путь.

Казалось, что, идя по старой, знакомой дороге, мы были гарантированы от многих случайностей и могли заранее рассчитывать свои переходы, но на деле вышло противное: нам пришлось, словно на закуску, испытать еще одну невзгоду. Дело состояло в следующем.

Поздно вечером 30 ноября остановились мы ночевать возле кумирни Шыреты-дзу, лежащей в 80 верстах севернее Куку-хото на большом тракте, ведущем из этого города в Улясутай. Утром следующего дня все наши верблюды, числом семь, за исключением одного больного, были пущены на пастбу возле палатки, недалеко от которых ходили верблюды других караванов, шедших из Куку-хото. Так как трава в этом месте была выбита дочи́ста, то наши животные перешли через горку, стоявшую недалеко впереди, чтобы поискать там лучшего корму и укрыться от ветра, сильно бушевавшего пять суток сряду. Спустя немного казак и наш монгол отправились пригнать к палатке ушедших верблюдов, но их уже не было за горкой, и самый след, заметаемый ветром, потерялся в массе других верблюжьих следов. Узнав о такой пропаже, я тотчас отправил тех же самых людей на поиски; они проходили целый день и осмотрели верблюдов всех караванов, стоявших поблизости, наших животных не находилось, словно они провалились сквозь землю.

На другой день я послал казака-переводчика в кумирню Шыреты-дзу, во владении которой случилась эта пропажа, объявить о воровстве и просить содействия для отыскания украденных верблюдов. Когда посланный пришел в кумирню, то его едва пустили туда, а потом, посмотрев наш пекинский паспорт, в котором говорилось о содействии в необходимых случаях, местные ламы преспокойно отвечали: "Мы не пастухи ваших верблюдов, ищите сами, как знаете". Такой же точно ответ был дан и монгольским чиновником, к которому мы обратились за помощью.

В то же время окрестные китайцы не хотели продавать нам соломы для корма уцелевшего больного верблюда и двух наших лошадей; трава в степи была до того выбита верблюдами проходящих караванов, что о подножном корме нечего было и думать.

Наши бедные животные томились голодом, и одна из лошадей замерзла ночью; больной верблюд издох через два дня и лежал прямо против дверей нашей палатки, к вящему украшению всей обстановки. Таким образом, мы остались с одной лошадью, да и та едва волочила ноги. Лошадь эта была спасена от голодной смерти лишь тем, что китайцы сильно разлакомились на нашего издохшего верблюда, довольно жирного, и мы променяли его на 25 снопов хорошего сена.

Между тем отправленные вновь на поиски монгол и казак вернулись через несколько дней и объявили, что они объездили большое пространство, везде расспрашивали, но ничего не могли узнать о пропавших верблюдах. Отыскать их, конечно, было невозможно без содействия местных властей, а потому я решил нанять окрестных китайцев свезти нас в Куку-хото, откуда мы надеялись достать подводы до Калгана.

Однако китайцы не соблазнились предложением большой денежной оплаты и ни за что не соглашались наняться к нам в подводчики, боясь, конечно, ответственности за это перед своими властями.

Положение наше становилось безвыходным. По счастью, у нас в это время было 200 лан денег, вырученных за проданные в Ала-шане товары и ружья, так что я решил послать казака с монголом в Куку-хото, чтобы купить там новых верблюдов. Но опять-таки вопрос: на чем отправить посланных, когда у нас теперь всего одна лошадь, да и та никуда

не годна? Поэтому предварительно я отправился с казаком-переводчиком по монгольским юртам искать продажной лошади; проведя целый день, мы действительно купили лошадь, на которой следующим же утром казак с монголом отправились в Куку-хото. Здесь они купили новых, крайне плохих верблюдов; на них мы двинулись далее, простояв около кумирни Шыре-дзу 17 суток. Таким образом, не говоря уже про потерю времени, нам пришлось понести весьма чувствительную потерю и в материальном отношении. Прежде этого у нас также погибло достаточно животных от бескормицы, безводия, жаров, морозов словом, от трудностей пути.

Всего в течение первого года экспедиции мы потеряли 12 верблюдов и 11 лошадей; впрочем, последние большей частью променялись монголам на лучшие экземпляры, конечно, с немалой придачей.

Во время долгой стоянки по случаю потери верблюдов мы почти не имели занятий, так как птиц не было никаких, кроме жаворонков и пустынных. Писать также ничего не приходилось, тем более что эта процедура весьма трудная на дворе зимой: нужно предварительно разогреть замерзшие чернила и часто подносить к огню обмакнутое в них перо, чтобы оно не застыло. Я же всегда предпочитал писать свои дневники чернилами и только в самом крайнем случае брал карандаш; последний скоро стирается, так что потом трудно разобрать написанное.

Получив новых верблюдов, мы пошли в Калган форсированными переходами и только простояли два дня в горах Сума-хада, чтобы поохотиться на аргали; на этот раз я убил здесь двух старых самок. Дорогой опять случилась неприятная история. Лошадь моего товарища, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и понесла; слабый еще здоровьем Михаил Александрович не мог удержаться в седле и рухнул прямо головой на мерзлую землю так сильно, что мы подняли его без памяти. Однако он вскоре пришел в себя и отделался только ушибом.

Влияние теплого Китая на эту окраину Монголии было очень заметно: в тихие дни или при слабых юго-западных ветрах днем было тепло, так что термометр однажды, именно 10 декабря, показывал +2,5 С в тени. Но лишь только задувал западный или северо-западный ветер, преобладающий в Монголии зимой, как становилось очень холодно. Ночные морозы стояли обыкновенно посредственные: термометр на восходе солнца не опускался ниже — 29,7 С, но зато после облачной ночи он иногда показывал в это время только 6,5 С. Погода была большей частью ясная; снег в течение всего декабря шел только три раза; местами он покрывал землю на несколько дюймов, но часто встречались пространства и вовсе бесснежные.

Вообще на монгольской окраине, прилегающей к Китаю, климат далеко не так суров, как в других, более удаленных отсюда частях Гобийского нагорья. Правда, высокое абсолютное поднятие берет свое и в описываемой полосе, но все-таки здесь гораздо реже перепадают те страшные холода, которые так постоянны в Гоби зимой. Ледяные ветры Сибири, почти всегда ясное небо, оголенная соленая почва вместе с высоким поднятием над уровнем моря вот те причины, которые в общей, постоянной совокупности делают монгольскую пустыню одной из суровейших стран всей Азии.

День за днем уменьшалось расстояние, отделявшее нас от Калгана, а вместе с тем увеличивалось наше нетерпение поскорее попасть в этот город. Наконец желанная минута наступила, и мы, как раз накануне нового, 1872 года, поздно вечером явились к своим калганским соотечественникам, у которых по-прежнему встретили самый радушный прием.

Первый акт экспедиции был окончен. Результаты путешествия, копившиеся понемногу, теперь обрисовались яснее. Мы могли с чистой совестью сказать, что выполнили свою первую задачу, и этот успех еще более разжигал страстное желание пуститься вновь в глубь Азии, к далеким берегам озера Куку-нора.

* * * Через несколько дней по возвращении в Калган я отправился в Пекин, чтобы запастись там деньгами и всем необходимым для нового путешествия. Мой товарищ с казаками остался в Калгане и заготовлял исподволь различные мелочные вещи, необходимые в экспедиции, а также покупал новых верблюдов, так как приобретенные в Куку-хото оказались никуда не годными.

Целых два месяца, январь и февраль, незаметно прошли в различных хлопотах, сборах, упаковке и отсылке в Кяхту собранных коллекций, наконец в писании отчетов об исследованиях прошедшего года. Как тогда, так и теперь мы были поставлены в крайне затруднительное положение относительно материальных средств, потому что деньги, следуемые на экспедицию 1872 года, не были сполна получены в Пекине.

Личный состав нашей экспедиции теперь переформировался. Два казака, сопутствовавшие нам в прошедшем году, оказались людьми ненадежными и, кроме того, тосковали по родине, так что я решился отправить их домой, а взамен взять двух новых спутников из отряда, занимавшего в то время город Ургу. На этот раз выбор был чрезвычайно удачен, и вновь прибывшие казаки оказались самыми усердными и преданными людьми во все время нашего долгого путешествия. Один из них был русский, 19-летний юноша, по имени Панфил Чебаев, а другой, родом бурят, назывался Дондок Иринчинов. Мы с товарищем вскоре сблизились с этими добрыми людьми самой тесной дружбой, и это был важный залог для успеха дела. В страшной дали от родины, среди людей, чуждых нам во всем, мы жили родными братьями, вместе делили труды и опасности, горе и радости. И до гроба сохраню я благодарное воспоминание о своих спутниках, которые безграничной отвагой и преданностью делу обусловили как нельзя более весь успех экспедиции.

Кроме нашего неизменного Фауста, мы приобрели теперь для караула по ночам большую и очень злую собаку, называвшуюся Карза. Этот пес выходил с нами всю вторую экспедицию и оказал много услуг. Своих прежних хозяев, то есть монголов, он позабыл очень скоро..., что очень часто избавляло нас от назойливых посетителей. Фауст возненавидел Карзу с первого знакомства, и оба они были заклятыми врагами до самого конца экспедиции. Замечательно, что европейские собаки очень редко, почти даже никогда, не дружат ни с китайскими, ни с монгольскими псами, хотя бы жили вместе с ними долгое время. 5 марта утром мы выступили из Калгана и направились тем же самым путем, по которому в прошедшем году шли на Желтую реку и возвращались из Ала-шаня. К вечеру первого дня пути мы опять попали в суровый климат Монголии, где весна еще не начиналась, тогда как в Калгане с конца февраля сделалось уже довольно тепло, прилетели в большом количестве водяные птицы и появились насекомые. На нагорье такая картина круто переменилась. Правда, снегу здесь уже не было, но по ручьям еще везде лежали толстые накипи зимнего льда; термометр, в особенности ночью, показывал порядочный мороз, дул сильный холодный ветер, пролетных птиц еще не было видно словом, монгольская степь имела вполне зимний характер.

Нынешняя ранняя весна отличалась от прошлогодней тем, что теперь чаще случались метели и сравнительно реже дули северо-западные ветры, хотя опять-таки бури являлись часто и иногда продолжались по трое суток без перерыва. Сухость воздуха по-прежнему была чрезвычайно велика.

Ее показывал не только психрометр, но даже губы и руки, кожа на которых растрескивалась и делалась совершенно сухой, словно отполированной...

В продолжение месяца с небольшим мы прошли из Калгана до хребта Муни-ула и решили пробыть здесь некоторое время, чтобы наблюдать пролет мелких птишек и собрать весеннюю флору названных гор. Прежде, возвращаясь из Ала-шаня, мы мечтали попасть вновь на Хуан-хэ в конце февраля и перейти эту реку по льду в Ордос, чтобы там, на озере Цайдемун-нор, наблюдать весь весенний пролет птиц; но такие расчеты не оправдались, и мы пришли на Муни-ула лишь 10 апреля, когда валовой пролет большей части видов уже окончился. Таким образом, мы должны были оставить свое прежнее намерение вторично посетить Ордос и ограничились лишь пребыванием в горах Муни-ула.

Здесь в половине апреля растительная жизнь начала пробуждаться довольно быстро, в особенности в нижнем и среднем поясах южного склона гор. Деревья и кусты дикого персика были залиты розовыми цветами и красиво пестрели на крутых скатах, еще не одетых зеленью. По горным ущельям, в особенности в местах, доступных солнечному пригреву, зеленела свежая травка и выглядывали цветки прострела, анемона, астрагала и гусяного лука. Тополь, сосна и лоза стояли в цвету; почки белой и черной березы разбухли и готовились развертываться. Вверху гор, на альпийских лугах, растительность еще не пробуждалась весенним теплом, но снегу здесь уже нигде не было, даже на самых высоких вершинах.

Казалось бы, что лесистый хребет Муни-ула, расположенный среди голых степей, как раз на перепутье от юга к северу, должен привлекать к себе множество пролетных птишек, но, как упомянуто выше, на деле оказалось совершенно противное. За все время 11-дневного пребывания в горах мы нашли только четыре лишних вида птиц против тех, которых встретили здесь в июле прошедшего года; притом эти новые виды явились в самом ограниченном числе экземпляров, словно залетели сюда украдкой или случайно.

Видя, что нельзя рассчитывать на хорошую орнитологическую поживу, мы оставили 22 апреля Муни-ула и отправились в Ала-шань по долине левого берега Хуан-хэ, то есть тем же путем, которым шли зимой в Калган, только на этот раз мы решили не переходить за хребет Хара-нарин-ула. Мы провели три дня в местности, называемой монголами Холосун-нур, где китайские рисовые поля на большое пространство были затоплены водой, отведенной от Желтой реки. На этих разливах мы сразу встретили около 30 видов преимущественно водяных и болотных птиц, которых нынешней весной не наблюдали в сухих степях Монголии.

Впрочем, количество птиц и здесь было невелико; время валового пролета уже миновало, так что теперь остались только местные или запоздавшие экземпляры.

Вообще относительно орнитологических изысканий нынешняя весна для нас была еще беднее, нежели прошлогодняя, и мы могли сделать лишь то отрицательное наблюдение, что пролетные птицы бегут без оглядки от безводных пустынь Монголии.

Одновременно с охотой на птиц мы добывали себе также ружьем и рыбу. Именно теперь, то есть в конце апреля, происходил нерест у карпов, которые по утрам и вечерам в большом количестве плескались по самым мелководным местам затопленных полей.

Желая полакомиться рыбой, мы брали ружья, снимали для легкости сапоги и шли туда, где замечали игравших карпов. Последние в это время так сильно заняты своим делом, что почти вовсе не замечают человека и выходят на самую поверхность воды в нескольких шагах от охотника. В это время, улучив удобный момент, можно убить рыбу, и мы каждый день добывали по несколько крупных экземпляров.

Граница Ала-шаня ознаменовалась появлением сыпучих песков, наполняющих, как известно, весь Заордос. Бедность растительности, несмотря на лучшее время весны (половина мая), здесь была еще большая. В общем, физиономия страны почти не отличалась от той, какую нашли мы здесь в прошедшем году глубокой осенью: те же неоглядные желтые пески, те же площади зака, те же глинистые бугры с корявыми кустами хармыка. Если изредка и выглядывала какая-нибудь цветущая травка: софора, турнефорция, вьюнок Аммана, гармала, чертополох, вьюнок колючий, селитрянга, жузгун, то она являлась как будто чуждой пришельцей среди этой мачехи-природы.

В половине мая мы вступили в пределы Ала-шаня и вскоре встретили двух чиновников, высланных князем из Дынь-юань-ина, чтобы приветствовать нас и проводить по пустыне. Истинная же цель этой встречи заключалась в том, что князь и его сыновья желали поскорее получить наши подарки, о которых они узнали через Балдын-Сорджи.

Этого ламу мы встретили в апреле возле Муни-ула возвращающимся из Пекина, куда он ездил по поручению своего повелителя. Вручив Сорджи подарок за услуги прошедшего года, мы показали ему в то же время подарки, которые везли ала-шаньским князьям. Этими весьма хорошими подарками мы надеялись еще более расположить в свою пользу алашаньских владетелей, от которых вполне зависело наше дальнейшее следование на озеро Куку-нор.

Встретившие теперь нас чиновники тотчас же заговорили о подарках, рассказывали, с каким нетерпением ждут их князья, и просили меня отправить эти подарки вперед.

Я согласился на такое предложение и послал: старому князю большой двусторонний плед и револьвер; старшему сыну такой же плед и микроскоп; гыгену и Сия по скорострельному пистолету системы Ремингтон с тысячью готовых патронов. Хотя дело было вечером, но, получив подарки, один из чиновников тотчас же уехал вперед, а другой остался с нами. 26 мая мы пришли в Дынь-юань-ин и поместились в заранее приготовленной для нас фанзе. По обыкновению, от любопытных не было ни минуты покоя, так что мы наконец привязали в дверях своего жилища нашего злого Карзу, и это оказалось очень действительным средством против нахальства зевак.

В тот же день вечером мы виделись со своими приятелями гыгеном и Сия. Мой мундир генерального штаба, который я теперь нарочно захватил из Пекина, произвел на молодых князей большое впечатление, и они рассматривали его до малейших подробностей. Теперь еще более подтвердилось мнение, что я, вероятно, очень важный чиновник, доверенное лицо самого государя. Об этом меня постоянно спрашивали ала-шаньские князья в прошедшем году, но теперь, видя на мне блестящий мундир, окончательно убедились в своих догадках. С этих пор я прослыл за "царского чиновника" и с таким титулом совершил все остальное путешествие. Я сам нисколько не старался разрушить подобное мнение о своей важности: для меня оно было отчасти на руку, так как объясняло цель нашего путешествия. С этих пор местные жители везде стали говорить, что цаган-хан прислал в их сторону своего чиновника, для того чтобы он видел здешних людей и природу собственными глазами и по возвращении на родину рассказал обо всем этом своему государю.

Между тем выпал великолепный случай пройти на озеро Куку-нор. В Дынь-юань-ине мы застали недавно пришедший из Пекина караван из 27 тангутов и монголов, которые вскоре отправлялись в кумирню Чейбсен, лежащую в провинции Гань-су, в 60 верстах к северо-северо-востоку от города Синина и в пяти днях пути от озера Куку-нор.

На наше предложение следовать вместе тангуты согласились с великой радостью, надеясь найти в нас хороших защитников в случае нападения дунган. Чтобы еще более убедить будущих спутников в действительности нашего вооружения, мы устроили пальбу из штуцеров и револьверов. На это зрелище собралась большая толпа народа, и все были поражены действием скорострельного оружия; тангуты же чуть не плясали от радости, видя, каких они приобретают спутников.

Переход до Чейбсена с тангутским караваном был чистый клад, так как без этого случая мы едва ли могли бы достать себе проводника, хотя бы через Южный Ала-шань.

Наша радость еще более разжигалась рассказами тангутов, что возле их кумирни лежат высокие горы, покрытые лесами, в которых водится множество птиц и зверей.

Словом, дело слагалось как нельзя лучше, нужно было только вытянуть согласие алашаньского князя на следование с тангутами, которые не могли нас взять с собой без подобного разрешения.

Но тут и начались различные уловки со стороны князя, чтобы отклонить нас от следования на Куку-нор. Какая была тому побудительная причина, я не знаю; всего вероятнее, что князь получил на этот счет из Пекина должные наставления, а может быть, и нагоняя за радушный прием русских в прошедшем году.

Главным действующим лицом во всех дальнейших проделках амбаня явился Балдын-Сорджи, который прежде всего пошел на ту уловку, что предлагал нам гадать у местных лам о благополучии предстоящего пути. Нечего говорить, что ответ лам был бы крайне неблагоприятный и нам напророчили бы всяких бед. С подобной же хитрости началось и в прошедшем году, когда мы впервые явились в Ала-шань. Тогда нас уговаривали объяснить откровенно, кто мы такие, страшая в противном случае узнать истину через гыгенов. Но как тогда, так и теперь подобные уловки ни к чему не привели: отказ с нашей стороны был решительный.

Тогда начались рассказы о том, что тангуты будут идти очень скоро по 50 верст в сутки, что нам не выдержать подобных переходов, тем более по ночам. На это Сорджи получил ответ, что ему нечего заботиться о нашем спокойствии в дороге и что мы сами знаем, как поступать. Видя опять неподатливость с нашей стороны, Сорджи начал рассказывать, что по дороге в Чейбсен лежат высокие горы, что верблюдам очень трудно, а быть может, и совсем нельзя будет пройти через них, что пусть мы лучше подождем месяц или два и тогда амбань даст нам проводников до Куку-нора. Между тем тот же самый лама в прошедшем году, и даже несколько дней тому назад, уверял нас, что проводника на Куку-нор в Ала-шане нельзя достать ни за какие деньги, потому что все страшно боятся дунган и не пойдут, если бы даже посылаемого страшали казнью. Кроме того, чтобы еще лучше поймать нас на удочку, один монгольский чиновник, конечно по приказанию того же Сорджи, передал нам будто по секрету, что князь велел в ямыне приготовить двух проводников на Куку-нор и даже в Тибет, если мы пожелаем идти в эту страну.

Между тем день за днем откладывалось наше свидание с самим князем под предлогом, что он нездоров; истинная же причина таких отсрочек заключалась, вероятно, в том, что

князь опасался моего настойчивого требования отправить нас с караваном тангутов. Старшего сына мы также еще не видали, а Гыген и Сия после первого свидания не приглашали уже нас к себе, хотя сами несколько раз приезжали к нам.

Вообще со стороны алашаньских князей мы далеко не встретили теперь того радушия, как в прошедшем году.

Но счастье и на этот раз повезло нам удивительно. Гыген согласился дать за скорострельный штуцер Спенсера шесть верблюдов, с придачей 100 лан деньгами.

Правда, он ставил этих верблюдов по 50 лан за каждого, но зато и я назначил за ружье цену в 11 раз большую той, за которую его купил, так что по поговорке "клин выгонялся клином". Получив еще около 120 лан за другие товары, мы уже располагали средствами, правда незначительными, но все-таки могли действовать решительнее. Я объявил Сорджи, что непременно пойду с тангутами, и требовал, чтобы амбань прислал мне деньги за взятые товары или возвратил их обратно.

Вечером 1 июня, накануне отхода тангутского каравана, Сорджи пришел к нам и объявил, что амбань приказал тангутам остаться еще на два дня в городе. В течение этих дней лама продолжал уговаривать нас остаться, уверяя, что князь очень опечален нашим скорым уходом из Ала-шаня. Для большего впечатления Сорджи твердил, что амбань очень любит не только русских, но и все их товары, а именно: стереоскопы, оружие, сукно, мыло, свечи и прочее, забавно перебирая по пальцам, считал хитрый лама. При этом он просил подарить князю и его старшему сыну по ружью или какие-нибудь другие хорошие вещи, хотя бы даже русское платье. Вообще бессовестность, до которой доходили в своем попрошайничестве как сам амбань, так и его сыновья, переходила всякие пределы. Через своих доверенных они лезли к нам со всевозможными просьбами, и дело доходило до того, что, ожидая приезда князей, мы должны были прятать многие вещи во избежание попрошайничества со стороны своих гостей.

После настоятельных требований мне принесли наконец от князя деньги за товары всего 258 лан. Присоединив этот куш к прежней выручке, мы располагали теперь 500 лан денег и 14 верблюдами.

Счастье, по-видимому, совершенно поворотило в нашу сторону. Завтрашнее выступление с тангутским караваном было решено окончательно, и хотя мы не получали от князя уведомления об этом, но нам уже не говорили, чтобы остаться.

Приближенные амбаня, казалось, также были уверены, что мы завтра уйдем, и Гыген прислал нам в подарок пару лошадей.

С лихорадочной радостью тем более сильной после всех пережитых в последние дни испытаний мы до поздней ночи увязывали свои вещи, седлали верблюдов и вообще собирались в путь. Утром, лишь только рассвело, мы уже были на ногах и начали выючить верблюдов. Половина их была готова, как вдруг к нам прибегает один из тангутов и объявляет, что они сегодня не выходят, так как получено известие о шайке дунган, стоящей недалеко от Дынь-юань-ина. Не поверив тангуту, я отправил своего товарища с казаком разузнать, в чем дело: посланные вскоре вернулись обратно и объяснили, что тангутский караван уже совершенно готов к выступлению.

Между тем пришел Сорджи и начал также говорить о дунганах, но когда, выведенный наконец из терпения таким наглым обманом, я обругал ламу русским словом, то он стал

объяснять, что тангуты сами не хотят идти с нами, что они худые люди, хотя до сих пор постоянно отзывался о них с похвалой.

В это время я получил известие, что тангутский караван выходит из города. Тогда мы завьючили остальных верблюдов и, окруженные густой толпой, вышли со двора своей фанзы с намерением идти вслед за караваном. Не успели мы сделать сотни шагов, как к нам подъехал Сия и начал говорить, что получено известие о дунганах, что хотя тангутский караван ушел, но его пошлют тотчас же вернуть; при этом молодой князь уговаривал нас остаться, пока разъяснится дело. Вместе с Сия приехал и тангутский лама, начальник каравана, тот самый, который до сих пор так сильно желал идти вместе с нами. Теперь этот лама, конечно по приказанию князя, начал говорить то же самое, что Сия, советовал нам остаться и подождать.

Появление тангутского лама и его крутой переход в другую сторону было для нас, конечно, важнее, нежели все прежние страдания алашаньского князя. В будущем спутнике мы видели теперь уже не друга, но врага, и могли ли мы при таких условиях сильно напирать на то, чтобы непременно идти с тангутским караваном.

Тогда я решился употребить последнее средство, хотя и знал, что едва ли оно поведет к чему-либо. Я спросил у Сия: дает ли он мне честное слово, что нас не обманывают и что тангуты не уйдут без нас? "Даю, даю охотно, ручаюсь вам в этом", отвечал Сия, видимо обрадованный как-нибудь достигнуть цели, то есть удержать нас хотя на сегодня. Лама, начальник каравана, также стал уверять, что непременно возьмет нас с собой. Затем мы отправились в загородный сад князя и разбили там палатку в ожидании, что будет далее.

Трудно описать наше волнение, в особенности в первые минуты. Действительно, подобная история была слишком тяжела.

Заветная цель давнишних стремлений, для которой понесено уже столько труда и которая, казалось, должна была быть непременно достигнутой, теперь сразу отдалялась бог знает на какое время. Пусть сначала, в первые дни нашего прихода в Дынь-юань-ин, нам отказали бы идти с тангутами, тогда горе все еще было наполовину, мы сами не думали встретить такой благоприятный случай; теперь же подобный отказ становился вдвое тяжелее, после того как мысль об успехе уже сроднилась с нами.

В тревожном ожидании провели мы весь этот день. Сорджи и другие ламы теперь не показывались к нам на глаза, и только к вечеру приехал Сия, которого я начал стращать тем, что буду жаловаться в Пекине на подобное насилие со стороны алашаньских властей. Молодой князь, видимо конфузясь участием во всем этом деле, просил меня обождать немного и уверял, что тибетский караван ни в каком случае не уйдет без нас. Наученный прежними опытами, я плохо верил подобному обещанию и уже размышлял о том, в какую часть Монголии направиться для дальнейших исследований, как вдруг, перед вечером следующего дня, 5 июня, к нам опять приехал Сия и объявил, что тангутский караван стоит неподалеку от города и мы можем завтра идти вместе с ним, так как нарочно посланный разведать о дунганах возвратился и донес, что их нет и самый слух был ложный. Конечно, все это была одна отговорка, никаких дунган не приходило, но, всего вероятнее, алашаньский князь посылал в город Нин-ся к китайскому амбаню узнать, как поступить в данном случае. Скрытность местного населения относительно путешественника так велика, что ни теперь, ни после я не мог узнать, какая причина понудила князя остановить нас на два дня в самую минуту выхода. Однако теперь нам некогда было рассуждать: мы всецело предали себя поглощавшей нас радости; опять

надежда на успех в великом предприятии не давала нам покоя ни в остаток дня, ни в течение целой ночи.

Караван, с которым мы теперь отправлялись в путь, снаряжен был в Пекине одним из важнейших монгольских кутухт, именно Джанджы-гыгеном, которому принадлежит много церквей как в Пекине, так и в Монголии, в том числе знаменитый монастырь У-тай, недалеко от города Куку-хото. Сам вышеназванный святой родился в Гань-су, в кумирне Чейбсен, куда и направлялись теперь наши будущие спутники. Состав их был самый пестрый. Всего в караване считалось, кроме нас четверых, 37 человек, из которых 10 были ламы-воины, посланные как охранители алашаньским гыгеном.

Большая часть остальных людей состояла из тангутов, уроженцев кумирни Чейбсен; кроме того, здесь находились несколько монголов, отправлявшихся на богомолье в Лассу.

На всю эту братию состояло в наличности 72 верблюда и около 40 лошадей или мулов вместе с нашими животными. Начальниками караванов были два ламы-донира (казначей), родом тангуты, очень хорошие и услужливые люди. Чтобы еще более расположить этих командиров в свою пользу, я подарил каждому из них по небольшому пледу.

Все участники каравана были вооружены фитильными ружьями, частью пиками и саблями. Вообще они слыли за чрезвычайно храбрых, просто отчаянных людей, решившихся в такое страшное время идти в те места, где живут и разбойничают дунганы. Однако впоследствии опыт показал, что смелость наших сотоварищей была не особенно велика, даже при опасности только воображаемой.

Ламы-воины имели гладкоствольные европейские ружья, купленные китайским правительством у англичан и присланные в Ала-шань из Пекина. Ружья эти весьма плохого качества и еще более испорчены небрежным содержанием. В своих красных форменных блузах, с красными повязками на головах, притом верхом на верблюдах, описываемые ламы представляли оригинальный вид, хотя, конечно, по воинским достоинствам не отличались от прочих своих соотечественников.

Но самой замечательной личностью всего каравана был тангут Рандземба, отправлявшийся из Пекина в Тибет. Этот человек, лет сорока, откровенный и добродушный, вместе с тем был страшный говорун, любил помочь каждому и вмешаться во всякое дело.

Словоохотливость Рандзембы, обыкновенно рассказывавшего обо всем с самыми выразительными жестами, была так велика, что мы прозвали его "многоглаголивый Аввакум". Имя это тотчас же разнеслось по всему каравану, и с этих пор Рандзембу никто уже не называл иначе, как Аввакум.

Главной страстью нового Аввакума была охота и стрельба в цель; последняя составляла любимое занятие всего каравана. Почти каждый день по приходе на место тот или другой из наших спутников, уловив свободную минуту, начинал стрелять в мишень.

Являлись зрители, сначала безучастные, но потом, раззадорившись мало-помалу, приносили свои ружья, и начиналась общая пальба. Рандземба всегда был главным действующим лицом подобных стрельбищ. Достаточно ему было услышать выстрел, и, несмотря ни на какое занятие, даже сон после большого перехода и сильной усталости,

наш Аввакум прибежал босой, с заспанными глазами, и тотчас же начинал давать советы: как нужно поставить мишень, какой положить заряд, чем исправить ружье и т. д. Вместе с тем, слывя хорошим стрелком, он обыкновенно пристреливал плохо бывшие ружья в таком количестве зарядов, что от сильной отдачи у Рандзембы правое плечо было постоянно распухшим.

Во время пути Аввакум ехал верхом на лошади, предоставляя двум своим товарищам вести завьюченных верблюдов. Сам же беспрестанно заезжал то в ту, то в другую сторону, высматривая, нет ли где хара-сульт, и, заметив последних, тотчас же скакал к нам с предложением стрелять или иногда подкрадывался сам, предварительно вырубив огонь и зажегши фитиль своего ружья. Товарищи Аввакума, на которых одних лежала дорогой вся забота о вьючных животных, видимо, не особенно были довольны подобными поисками зверей. Однажды они решились даже прибегнуть к крутой мере и заставили Рандзембу вести верблюдов. С удивлением увидели мы своего приятеля восседающим уже не на лошади и ведущего в поводу вьючных животных. Однако подобное заключение продолжалось недолго для вольнолюбивого Аввакума. На беду его спутников, в этот день, как нарочно, много встречалось антилоп. Рандземба, имевший возможность видеть с верблюда очень далеко, беспрестанно провожал и встречал далеко не равнодушными глазами этих животных, и когда наконец мы погнались за одной из хара-сульт, до того увлекся, что вовсе забыл о своих верблюдах и завел их в рытвину. Тогда товарищи Аввакума, видя, что из блудного сына проку не будет, прогнали от верблюдов Рандзембу, снова воссевшего с великой радостью на лошадь и по-прежнему принявшегося гоняться за хара-сультами.

На другой день после нашего прибытия тангутский караван выступил в путь. Дорогой мы со своими верблюдами шли в хвосте этого каравана, чтобы не задерживать остальных спутников при случайных остановках, как, например, для поправки вьюка или чего-нибудь другого в этом роде. Хотя после продажи товаров в Дынь-юань-ине прежний багаж наш значительно уменьшился, но взамен этого мы купили 7 пуда в рису и проса, которых, как мы слышали, нельзя достать в разоренной Гань-су.

Другие мелочные закупки, как, например, запасные веревки, войлоки и тому подобное, до того увеличили нашу кладь, что мы по-прежнему едва уложили ее на девять верблюдов. Но теперь нам еще труднее было вчетвером управляться со всей этой обузой, так как мы должны были идти не по своей воле и ни в чем не отставать от своих спутников. Напрасно старался я нанять в работники какого-нибудь алашаньского монгола и предлагал за это красную цену никто не соглашался идти с нами. Едва-едва, и то за плату по рублю в сутки, мы уговорили нескольких людей каравана пасти по ночам наших верблюдов вместе со своими; затем на нашу долю выпадало столько работы, что о научных исследованиях в пути нечего было и думать.

Обыкновенно мы вставали около полуночи, чтобы избежать дневного жара, и, сделав переход верст в тридцать сорок, останавливались возле колодца или, за неимением его, сами копали яму, куда набиралась соленая вода. Наши товарищи, из которых иные ходили несколько раз взад и вперед по здешним пустыням, превосходно знали дорогу и чутьем угадывали места, где можно было достать воду, иногда на глубине не более 3 футов. В колодцах, изредка попадавшихся по пути, вода была большей частью очень дурна, да притом в эти колодцы дунгане иногда бросали убитых монголов. У меня до сих пор мутит на сердце, когда я вспомню, как однажды, напившись чаю из подобного колодца, мы стали поить верблюдов и, вычерпав воду, увидели на дне гнилой труп человека.

На местах остановок отдохнуть было невозможно. Раскаленная почва пустыни дышала жаром, как из печи, в воздухе часто не колыхал ни малейший ветерок, а тут нужно было ежедневно расседлывать и заседлывать верблюдов, у которых, в противном случае, во время жаров тотчас сбивается спина. Водопой наших животных также занимал более часа времени, так как воду приходилось таскать маленьким черпаком, да притом каждый верблюд пьет за раз два три ведра. Поить же верблюдов летом, в сильные жары, необходимо каждый день, конечно, если есть для этого вода. Даже ночью в течение нескольких часов, улученных для отдыха, мы спали вследствие крайнего физического истощения самым тревожным сном.

В первые дни шествия с тангутским караваном наша палатка постоянно была наполнена любопытными. Их интересовало все до мельчайших подробностей, не говоря уже об оружии; расспросам не было конца. Самая ничтожная вещь осматривалась и обнюхивалась по нескольку раз; при этом нужно было рассказывать об одном и том же то одному, то другому посетителю. Это была крайне тяжелая, но неминуемая доля, в противном случае мы не могли приобрести расположения своих спутников, от которых вполне зависели в дороге.

Собирание растений, производство метеорологических наблюдений и писание дневника возбуждали также немало любопытства, даже подозрения. Чтобы отклонить от себя последнее, я объяснил своим спутникам, что записываю в книгу то, что видел, чтобы не забыть об этом по возвращении на родину, где с меня потребуют отчета; растения собираю на лекарства, чучела птиц и зверей везу на показ, а метеорологические наблюдения произвожу для того, чтобы узнать вперед погоду. В последнем все были твердо уверены, после того как я однажды предсказал дождь вследствие понижения анероида. Титул "царского чиновника", поехавший со мной из Дынь-юань-ина, много помог отклонить недоверчивость наших сотоварищей. При всем этом нельзя было производить некоторых крайне интересных наблюдений, как, например, магнитных, астрономических, измерений температуры почвы и воды в колодцах и тому подобное, это возбудило бы неотклонимое подозрение. Жертвуя меньшим большему, я решился сделать все это на обратном пути, равно как глазомерную съемку. На этот раз я удовольствовался маршрутом, да и то крайне неполным, так как у меня не было карманного компаса*, да притом мы постоянно были окружены хотя несколькими из своих спутников. * Оба своих маленьких компаса я вынужден был подарить алашаиьским князьям. (Примеч. автора.)

Неотвязчивость последних доходила до крайности. Случалось иногда, что, видя иногда настоятельную необходимость занести что-либо в свою карманную книжку, я умышленно отставал от каравана, как будто по нужде, и, сидя на корточках, записывал виденное. Да и в подобном случае следовало быть крайне осторожным, так как достаточно было кому-нибудь поймать меня только один раз, и тогда уже невозможно было отклонить самого сильного подозрения насчет нашего путешествия.

Собирание растений дорогой представляло также немало затруднений. Не успевали мы, бывало, сорвать какую-нибудь травку, как уже нас окружала целая толпа спутников с неизменными вопросами: "Ямур эм?" или "Цисык сейхэн бэйна?"*. * Какое это лекарство? Цветок хорош ли? (Примеч. автора.)

Если же случалось убивать птичку, то без преувеличения все наличные люди каравана подъезжали, каждый с одними и теми же вопросами: какая это птица? хорошо ли ее мясо? как я убил? и т. д. Волей-неволей на всю подобную назойливость нужно было смотреть сквозь пальцы, но такое притворство становилось по временам чересчур тяжело.

Миновав пески Тынгери, мы направились вдоль их южной окраины по глинистой бесплодной равнине, покрытой исключительно двумя видами солончаковых растений, и вскоре увидели впереди величественную цепь гор Гань-су. Словно стена, поднимались эти горы над равнинами Ала-шаня и далеко на горизонте, пока в неясных очертаниях выплывали снеговые гряды Кулиан и Лиан-чжу. Еще переход и эти величественные громады предстали нам во всем блеске своей нерукотворной красы.

Пустыня кончилась также чрезвычайно резко. Всего на расстоянии 2 верст от голых песков, которые потянулись далеко к западу, расстилались обработанные поля, пестрели цветами луга и густо рассыпались китайские фанзы. Культура и пустыня, жизнь и смерть граничили здесь так близко между собой, что удивленный путник едва верил собственным глазам.

Столь резкая физическая граница, кладущая, с одной стороны, предел кочевой жизниномада, а с другой не пропускающая за себя культуру оседлого племени, обозначается той самой Великой стеной, с которой мы познакомились возле Калгана и Гу-бей-коу.

От этих мест описываемая стена тянется к западу по горам, окаймляющим Монгольское нагорье, обходит с юга весь Ордос и примыкает к Алашань-скому хребту, составляющему естественную преграду к стороне пустыни. Далее, от южной оконечности Алашаньских гор, Великая стена идет по северной границе провинции Гань-су, мимо городов Лан-чжеу, Гань-чжеу и Су-чжеу до крепости Цзя-юй-гуань.

Однако там, где мы теперь проходили Великую стену (если только можно употребить здесь это название), она вовсе не походит на ту гигантскую постройку, которая воздвигнута в местностях, ближайших к Пекину. Вместо каменной громады мы увидели на границе Гань-су только глиняный вал, сильно разрушенный временем. По северную сторону этого вала (но не в нем самом) расположены на расстоянии 5 верст одна от другой сторожевые глиняные башни, каждая сажени три вышиной и столько же в квадрате у основания. Теперь эти башни совершенно заброшены, но прежде в каждой из них жило по 10 человек, обязанность которых состояла в том, чтобы передавать сигналами весть о вторжении неприятеля. Подобная сторожевая линия тянулась, как говорят, от Илийской провинции до самого Пекина, и известия по ней передавались с чрезвычайной быстротой. Сигналом служил дым, который поднимался с вершины башни, для чего здесь зажигался огонь. Монголы уверяли нас, что в подобном случае употреблялся волчий помет, смешанный с небольшим количеством бараньего; по наивным уверениям рассказчиков, дым от такого аргала всегда поднимается вертикально, хотя бы даже в сильный ветер.

В 2 верстах за Великой стеной лежит небольшой город Даджин, уцелевший от дунганского разорения. Во время нашего прохода здесь стояло 1 000 человек китайского войска, солонгов, пришедших из Маньчжурии, с берегов Амура. Все они хорошо знали русских, некоторые даже говорили кое-как по-русски и, к крайнему нашему удивлению, приветствовали нас словами: "Здаластуй, како живешь?".

Утром 20 июня мы оставили Даджин и в тот же день поднялись на горы Гань-су, где сразу встретили новый климат и новую природу. Высокое абсолютное поднятие, огромные горы, иногда достигающие пределов вечного снега, черноземная почва, наконец чрезвычайная сырость климата и, как следствие ее, обилие воды вот что нашли мы с первым шагом на гористом плато Гань-су, отстоящем всего на 40 верст от пустынь Ала-шаня. Флора и фауна изменились также чрезвычайно резко: богатейшая травянистая растительность покрыла собой плодородные степи и долины, а густые леса осенили высокие и крутые склоны; животная жизнь явилась также в богатом разнообразии.

Подобно тому, как и в других горах Монголии, окраинный хребет Гань-су развивается вполне к равнине Ала-шаня, но на противоположной стороне спуски его коротки и пологи. Даже вечноснеговые гряды Кулиан и Лиан-чжу, которые оставались верстах в пятидесяти вправо от нашего пути, и те, сколько были видны издали, нерезко спускаются к стороне нагорья и имеют здесь, то есть на южном скате, только небольшие разбросанные пласты снега.

В долине реки Чагрын-гол ламы увидели нескольких человек, поспешно убежавших в горы. Воображая, что это дунганы, и притом обрадовавшись, что неприятелей так мало, наши спутники тотчас же начали стрелять, хотя до беглецов было очень далеко. Мы с товарищем и казаками бросились к тому месту, где началась пальба, думая, что действительно случилось нападение, но, увидав, в чем дело, остались зрителями подвигов своих спутников. Последние продолжали стрелять все более и более, хотя никого из беглецов уже не было видно. После выстрела каждый стрелявший кричал несколько секунд во все горло, а потом принимался заряжать ружье. Точно так же поступают китайские солдаты и дунганы во время боя; выстрелы у них непременно сопровождаются самыми неистовыми криками для устрашения врага.

Настрелявшись вдоволь, наши храбрые воители пустились в погоню и поймали одного человека, оказавшегося китайцем. Впрочем, быть может, он был и дунган, так как магометане-китайцы ничем не отличаются от своих собратьев конфуциева* учения. * Конфуций китайский философ (VI–V в.в. до н. э.). Его учение оказало большое влияние на идеологию, обычаи народа. (Примеч. редактора.)

Пойманного решено было казнить по приходе на место ночлега; до тех пор он должен был идти с нашим караваном. Дорогой китаец отстал и спрятался в густой траве, но был отыскан и во избежание нового побега привязан своей косою к хвосту верхового верблюда.

По приходе на место картина была еще лучше. Китайца привязали к вьюку и тут же, рядом с ним, начали точить саблю, которой намеревались отрубить пленнику голову.

В это время между ламами шел горячий спор: одни хотели непременно казнить, другие помиловать. Китаец, знавший по-монгольски, хорошо понимал, о чем идет речь, но сидел совершенно спокойно. Мало того, когда сварился чай и ламы начали его пить, то по привычке они начали угощать и пленного китайца, словно гостя. К крайнему нашему удивлению, китаец стал пить чай с таким аппетитом, как будто у себя дома; ламы наливали ему чашку за чашкой, а сами вели прежний разговор относительно казни. Такая история показалась нам чересчур отвратительной, и мы поскорее отправились на экскурсию в соседние горы. Возвратясь к вечеру, мы увидели китайца еще живым и узнали, что благодаря заступничеству начальника каравана несчастный был помилован и оставлен на привязи лишь до утра.

Перейдя порядочную речку Чагрын-гол, которая течет на юго-запад к городу Джун-лин, мы снова вступили в горы, не составляющие уже хребта окраины, но нагроможденные на высоком плато этой части Гань-су. Описываемый хребет сопровождает с севера течение самого большого из притоков верхней Хуан-хэ, именно Тэтунг-гола, или Да-тун-хэ; на южном берегу той же реки стоит другой, не менее громадный хребет. Теперь я буду продолжать о нашем следовании к кумирне Чейбсен.

Перейдя через перевал, который имеет весьма пологий подъем и только несколько более крутой спуск, мы остановились ночевать в горах. Здесь опять случилась история. Наши казаки, ходившие перед вечером за дровами, заметили в одном из ближайших ущелий огонь и возле него каких-то людей. Тотчас об этом было дано знать в лагерь, и здесь все зашевелилось.

Предполагая, что виденные люди дунганы, дожидаящиеся ночи для нападения на нас, мы решили идти к ним, пока еще не совершенно стемнело. Из людей каравана к нам присоединилось восемь человек, и в том числе приятель Рандземба. Войдя в ущелье, мы начали осторожно подкрадываться к огню, но бывшие при нем люди заметили нас и пустились на уход. Тогда ламы с криком бросились за убежавшими, но погоня оказалась невозможной в густых кустах при наступивших уже сумерках с сильным дождем. Мы все собрались возле огня, на котором варилась в чугунной чаше какая-то еда; тут же лежал мешок с различными пожитками. Судя по костру, людей при нем было очень немного; полагая, что это, быть может, и не дунгане, наши товарищи стали кричать ушедшим по-монгольски, тангутски и китайски, приглашая их вернуться к костру. В ответ на это из кустов, росших по скату горы, раздался выстрел, и пуля просвистала возле нас. За такую дерзость мы решили проучить стрелявшего и пустили десятка полтора пуль по направлению дыма, склубившегося на месте выстрела с горы; ламы также принялись стрелять, и Рандземба, конечно, был главным действующим лицом. Долго после этого он не мог ничего рассказать про действие скорострельных ружей и, возвратясь в лагерь, на все вопросы своих товарищей только твердил: "Ай, лама, лама! Ай, лама, лама, лама!", тряс головой и махал руками, выражая тем удивление, переходившее границы. Ночью решено было караулить, и мы легли спать, как обыкновенно, с ружьем под изголовьем. Не успел я еще задремать, как возле самой нашей палатки раздался выстрел и крик. Схватив штуцера и револьверы, мы выскочили на двор, но оказалось, что это стрелял наш караульный на воздух. "Для чего, ты делал это?" спросил я у него. "А для того чтобы разбойники знали, что мы караулим", отвечал лама. Такой способ караула нам пришлось видеть впоследствии и в китайских войсках, по крайней мере у милиции, собранной для защиты кумирни Чейбсен.

Река Тэтунг-гол, там, где мы теперь на нее вышли, то есть в среднем течении, имеет сажен двадцать ширины и быстро мчится по своему ложу, усеянному валунами всевозможной величины. Местами запертая с боков громадными отвесными скалами, эта буйная река прихотливо ломает русло, ревет и мечется между камнями. Там, где горы отодвигаются немного в сторону, Тэ-гунг всегда образует живописную долину; в одном таком месте приютилась под громадными скалами кумирня Чертынтон.

Ее настоятель, гыген, оказался весьма любознательным человеком. Узнав о прибытии русских, он тотчас же пригласил нас к себе пить чай и познакомиться. Мы, со своей стороны, подарили гыгену стереоскоп, которым святой остался чрезвычайно доволен, так что у нас сразу завязались хорошие отношения, даже дружба. К сожалению, этот гыген, родом тангут, не говорил по-монгольски, так что необходимо было призвать переводчика тангутского языка. Мы объяснились с помощью своего казака-бурята и этого переводчика, отправляя каждую фразу через два лица к третьему и таким же путем получая ответ.

Чертынтонский гыген был даже художником и впоследствии нарисовал картину, изображавшую наше первое с ним свидание.

Невольная пятидневная остановка возле Тэтунг-гола была для нас как нельзя более приятна, так как мы могли в это время сделать несколько экскурсий в соседние горы и хотя немного познакомиться с их флорой и фауной. Богатство той и другой привели меня

к решению вернуться сюда из кумирни Чейбсен и посвятить целое лето более подробному изучению гор, окрестных кумирне Чертынтон.

По словам наших спутников и местных жителей, с вьючными верблюдами невозможно было пройти через горный хребет, стоящий по правую (южную) сторону Тэ-тунга, а потому мы оставили своих животных на пастбище возле Чертынтон и присуждены были нанять китайцев перевезти на мулах и ослах наш багаж в кумирню Чейбсен...

По приходе в Чейбсен мы были встречены своими дорожными приятелями донирами и поместились в большой пустой фанзе, которая служила складом продовольствия и идолов, получивших почему-то отставку. В этом просторном помещении мы могли разложить и просушить собранные дорогой коллекции, сильно пострадавшие от страшной сырости, какая встречается везде на нагорье Гань-су. Как обыкновенно, с первого же дня не было отбоя от любопытных, приходивших смотреть на невиданных людей и надоедавших невыносимо с раннего утра до поздней ночи. Едва мы выходили из своей фанзы, как являлась густая толпа, не отстававшая даже и в том случае, если кому-либо из нас приходилось отправиться за необходимым делом. Наши коллекции всего более возбуждали удивления и догадок. Некоторые начали подозревать, что собираемые растения, шкуры птиц и прочее всё очень ценные вещи, но только местные жители не знают в них толку. Впрочем, моя репутация, как доктора, собирающего лекарства, несколько рассеяла подобные подозрения.

Целую неделю пробыли мы в Чейбсене, занимаясь снаряжением в горы на остальную часть лета. Прежде всего мы купили за 110 лан четырех мулов и наняли к себе в услужение монгола, знавшего тангутский язык.

Закупка других мелочей оказалась весьма затруднительной, так как по случаю разъездов восставших дунган торговля находилась в сильном застое.

Оставив всю лишнюю кладь в Чейбсене, мы завьючили необходимые вещи на купленных мулов, а также на двух своих лошадей, и 10 июля отправились обратно в горы, лежащие по среднему течению Тэ-тунга, вблизи кумирни Чертынтон. 1 сентября мы явились в Чейбсен, где в наше отсутствие нападения дунган усилились до крайней степени. Пешие, почти безоружные милиционеры, защищавшие кумирню и собранные теперь здесь в числе до 2 000 человек, ничего не могли сделать конным повстанцам. Эти последние подъезжали к самой стене Чейбсена и, зная, что нас там нет, кричали: "Где же ваши защитники русские со своими хорошими ружьями? Мы пришли драться с ними". В ответ на это милиционеры посылали иногда выстрелы, но пули фитильных ружей не попадали в цель. Наши приятели-донеры, бывшие главными распорядителями в кумирне, ждали нашего возвращения, как манны небесной и, смешно даже сказать, присылали к нам в горы просить поскорее прийти в Чейбсен, защищать его от дунган.

Тем не менее положение наше было очень опасное, так как мы не могли поместиться теперь со своими верблюдами в кумирне, битком набитой народом, но должны были разбить палатку в одной версте отсюда на открытой луговой равнине. Здесь мы прежде всего организовали защиту на случай нападения. Все ящики с коллекциями, сумы с различными пожитками и запасами, равно как верблюжьи седла, были сложены квадратом, так что мы образовали каре, внутри которого должны были мы помещаться при появлении повстанцев. Здесь стояли наши штуцера с примкнутыми штыками и кучами патронов, а возле них лежало десять револьверов. На ночь все верблюды укладывались и привязывались вокруг нашего импровизированного укрепления и своими неуклюжими телами еще более затрудняли доступ, в особенности верховым людям.

Наконец, чтобы не пускать пуль даром, мы отмерили со всех сторон расстояния и заметили их кучами камней.

Наступила первая ночь. Все заперлись в кумирне, а мы остались одни одинешеньки, лицом к лицу с инсургентами, которые могли явиться сотнями, даже тысячами и задавить нас числом. Погода была ясная, и мы долго сидели при свете луны, рассуждая о прошлом, о далекой родине, о родных и друзьях, так давно покинутых.

Около полуночи трое из нас легли спать, не раздеваясь, а один остался на карауле, который мы держали поочередно до утра. Совершенно спокойно прошел и следующий день.

Дунгане канули словно в воду; не показывался даже и заколдованный богатырь. На третьи сутки повторилось то же самое, так что ободренные обитатели Чейбсена пригнали из кумирни свое стадо и начали пасти его возле нашей палатки. Шесть суток простояли мы у Чейбсена и далеко не нарочно подвергали себя подобной опасности: своей рискованной стоянкой мы покупали возможность пробраться на озеро Куку-нор.

Прямой путь к последнему лежит на города Сэн-гуань и Донкыр, направляясь через которые можно достигнуть берегов озера в пять суток. Но так как Сэн-гуань в это время был занят дунганями, то нам, конечно, нечего было и думать пройти по этой дороге. Нужно было поискать другого пути, и он действительно нашелся благодаря нашему великому счастью. На третий день нашей стоянки возле Чейбсена сюда пришли с верховьев Тэтунга, из хошуна Мур-засак, три монгола, которые, пробираясь ночью по горным тропинкам, пригнали на продажу стадо баранов. Через несколько времени эти монголы должны были возвращаться обратно и могли служить для нас превосходными проводниками нужно было только уговорить их взяться за это дело.

Для вящего успеха я обратился к своему приятелю чейбсенскому дониру и сделал ему хороший подарок. Подкупленный этим, донир уговорил пришедших монголов провести нас в хошун, то есть в Мур-засак с платой 30 лан за расстояние, не превышавшее 135 верст.

Главное препятствие, ставившее в тупик наших будущих вожатых, заключалось в том, что мы со своими выючными верблюдами не имели возможности идти ночью по горным тропинкам; следуя же днем, очень легко могли встретить дунган, которые постоянно ездят через горы из Сэн-гуаня в город Тэтунг. Вот тут-то и помогла рискованная стоянка возле Чейбсена. "С этими людьми вы не бойтесь дунган, говорил донир вожатым монголам, посмотрите, мы с двумя тысячами человек запираемся в своей кумирне, а они вчетвером стоят в поле, и никто не смеет их тронуть. Подумайте сами: разве простые люди могут это сделать? Нет, русские наперед всё знают, и их начальник непременно великий колдун или великий святой". Такая аргументация, приложенная к соблазнительной цифре 30 лан, окончательно победила нерешительность мурзасакских монголов. Они объявили, что готовы вести нас, но только просят погадать при них же о том, в какой день лучше отправиться в путь.

Мне кстати нужно было сделать определение широты Чейбсена, и я достал свой универсальный инструмент, которым определил высоту солнца, а потом сделал магнитное наблюдение. Наши будущие спутники смотрели на все это с вытаращенными глазами, а затем принялись гадать по-своему.

Когда наблюдения были окончены, я объявил, что отправлением в путь следует обождать. Такая отсрочка для нас была необходима, для того чтобы свезти все коллекции в кумирню Чертынтон и оставить их там на хранение с большей безопасностью, нежели в Чейбсене, который могли взять дунгане. По гаданию монголов также выходило, что следует не торопиться выходом и, кроме того, необходимо было дать подмерзнуть горным болотам. Посоветовавшись, мы решили назначить свое выступление на 23 сентября, а до тех пор хранить все это в тайне.

Получив задаток 10 лан, наши вожатые ушли в Чейбсен, а мы, не желая более торчать под носом у дунган, отправились обратно в горы и расположились в южной окраине Южного хребта. Отсюда мой товарищ съездил в кумирню Чертынтон и сдал тамошнему гыгену на хранение ящики с коллекциями, которые невозможно было тащить с собой на Куку-нор.

Наконец наступил желанный день нашего отправления, и 23 сентября, после полудня, мы вышли из Чейбсена. Как сказано выше, путь наш должен был лежать по горным тропинкам, лежащим в середине между двумя дунганскими городами: Сэн-гу-ань и Тэтунг.

Исхудалым и полубольным верблюдам путь по горам был слишком труден, а потому мы разложили свою кладь на всех вьючных животных да, кроме того, взяли одного мула из числа приобретенных для летних экскурсий.

Первый небольшой переход прошел благополучно, но на другой день утром, недалеко от кумирни Алтын, случилась история.

Проводники заранее говорили нам, что здесь опасно, так как китайские солдаты караулят тропинку и грабят всех проходящих, будь то свои или дунгане. На это мы отвечали, что для нас решительно все равно, кто бы ни были нападающие грабители, и что мы встретим пулями китайцев так же, как и дунган. Действительно, лишь только мы показались в виду кумирни Алтын, как из лощины, в расстоянии версты от нас, выскочили человек тридцать конных, которые сделали несколько выстрелов в воздух и с криком бросились к нашему каравану. Когда всадники подскакали шагов на пятьсот, я приказал своим проводникам махать им и кричать, что мы не дунгане, но русские, и что если на нас сделают нападение, то мы станем сами стрелять.

Вероятно, не расслышав таких вразумлений, китайцы продолжали скакать и приблизились шагов на двести, так что мы чуть-чуть не открыли пальбу. К счастью, дело уладилось благополучно. Видя, что мы стоим с ружьями в руках и не пугаемся криков, китайцы остановились, слезли с лошадей и пришли к нам, уверяя, что они ошиблись, приняв нас за дунган. Конечно, это была одна отговорка, так как дунгане никогда не ездят на верблюдах; китайские солдаты имели в виду ограбить наш караван в случае, если бы мы струсили их криков и убежали от своих вьючных животных. Через несколько верст повторилась та же самая история от другой партии, засевшей на тропинке, но и здесь китайцы ушли, ничем не поживившись.

На третий день пути предстоял самый опасный переход через две большие дунганские дороги из Сэн-гуаня в город Тэтунг.

Первую из этих дорог мы минули благополучно, но с вершины перевала, ведущего на другой путь, мы увидели в расстоянии 2 верст от себя кучу конных дунган, быть может, человек около сотни. Впереди их гнали большое стадо баранов, и эти кавалеристы были, по всему вероятно, конвой. Заметив наш караван, конные сделали несколько выстрелов и

столпились при выходе из ущелья, по которому мы шли. Нужно было видеть, что делалось в это время с нашими проводниками. Полумертвые от страха, они дрожащим голосом читали молитвы и умоляли нас уходить обратно в Чейбсен; но мы хорошо знали, что отступление только ободрит дунган, которые на лошадях все-таки легко могут догнать наш караван, и потому решили идти напролом.

Маленькой кучкой из четырех человек, со штуцерами в руках, с револьверами за поясом, двинулись мы впереди наших верблюдов, которых вели проводники-монголы, чуть было не убежавшие при нашем решении идти вперед. Однако когда я объявил, что в случае бегства мы будем стрелять в них прежде, чем в дунган, то наши сотоварищи волей-неволей должны были следовать за нами. Положение наше действительно было весьма опасным, но иного исхода не предстояло вся наша надежда заключалась в превосходном вооружении, незнакомом дунганам.

Расчет оказался верен. Видя, что мы идем вперед, дунгане сделали еще несколько выстрелов и наконец, подпустив нас не ближе как на версту (так что мы еще не начали стрелять из штуцеров), бросились на уход в обе стороны большой поперечной дороги. Тогда мы свободно вышли из ущелья, перешли большую дорогу и стали подниматься на следующий, очень крутой и высокий перевал. К довершению трудностей, наступил вечер и поднялась сильнейшая метель, так что наши верблюды едва-едва могли взобраться по тропинке. Спуск был еще хуже, делалось совершенно темно, и мы ощупью полезли вниз, беспрестанно спотыкаясь и падая. Наконец после часа подобной ходьбы мы остановились в таком узком ущелье и густых кустарниках, что едва нашли место для палатки и только после больших усилий могли развести огонь, чтобы отогреть на нем окоченевшие члены.

Следующие пять, дней пути прошли без всяких приключений, и мы благополучно достигли ставки Мур-засака, который имел свое местопребывание на берегу Тэтунг-гола, всего в 12 верстах от дунганского города Юнань-чень. Тем не менее начальник этого монгольского засака, принадлежащего в административном отношении уже к Куку-нору, жил постоянно в великой дружбе с дунганями, которые покупали у него скот и привозили на продажу свои товары.

Благодаря письму чейбсенского донира к Мур-засаку, в котором он отрекомендовал меня чуть ли не родственником самого богдохана, мы получили двух проводников до следующего тангутского стойбища, почти в самых верховьях Тэтунга. Конечно, при этом не обошлось без подарков самому Мур-засаку; проводникам же я платил каждому теперь по два цина в сутки и давал продовольствие.

Пройденный нами бассейн верхнего течения Тэтунг-гола носит вполне гористый характер, большей частью такой же дикий, как и возле кумирни Чертынтон. Как там, так и здесь два главных хребта один с севера, другой с юга сопровождают течение описываемой реки, пуская от себя боковые отроги, которые в Южном хребте служат разделом притоков самого Тэтунга и других речек, текущих то в Силин-гол, то в Куку-нор. Самая большая из этих речек, встреченная нами на пути, была Бугук-гол; она составляет приток Силин-гола и течет в превосходной, чрезвычайно живописной долине. На левой стороне Тэтунга Северный хребет вблизи города Юнань-чень круто поворачивает к северу, к истокам реки Эцзинэ. В то же время эти горы делаются еще выше, скалистее и выдвигают из себя вечноснежную вершину Конкыр одну из священных гор тангутской земли.

Южный хребет, в пространстве от Чейб-сена до Мур-засака, везде покрыт на своих северных склонах кустарниками, к которым в долине Бугук-гола присоединяется в небольшом количестве еловый лес; скаты же, обращенные на юг, по-прежнему представляют превосходные пастбища. Далее, за Мур-засаком, к верховьям Тэтунга, и в особенности за невысоким перевалом через водораздел между бассейном этой реки и Куку-нором, характер гор изменяется: они мельчают в своих размерах (за исключением лишь главного хребта), мало имеют скал, везде представляют пологие скаты, обыкновенно занятые кочковатыми болотами, которые преобладают везде и по долинам. Кустарники совсем исчезают, за исключением лишь желтого курильского чая, местами сплошь покрывающего большие площади. Словом' все возвещает близость степей Куку-нора, в равнину которого мы вышли 12 октября, а через день разбили свою палатку на самом берегу озера.

Мечта моей жизни исполнилась. Заветная цель экспедиции была достигнута. То, о чем еще недавно мечталось, теперь превратилось уже в осуществленный факт. Правда, такой успех был куплен ценой многих тяжелых испытаний, но теперь все пережитые невзгоды были забыты, и в полном восторге стояли мы с товарищем на берегу великого озера, любясь на его чудные, темно-голубые волны...

Тангуты, или, как их называют китайцы, «си-фань», одноплеменные тибетцам. Они занимают гористую область Гань-су, Куку-нор, восточную часть Цайдама, но всего более бассейн верхнего течения Хуан-хэ, распространяясь отсюда к югу до Голубой реки, а может быть, и далее. За исключением Куку-нора и Цайдама вышеназванные местности у тангутов носят общее имя «Амдо» и считаются их территорией, хотя описываемое племя живет большей частью смешанно с китайцами и отчасти с монголами.

По своему наружному типу тангуты резко отличаются как от тех, так и от других, но отчасти напоминают цыган. Общий рост их средний, частью даже большой, сложение коренастое, плечи широкие. Волосы, брови, усы и борода у всех, без исключения, черные; глаза черные, обыкновенно большие или средней величины, но не узко прорезанные, как у монголов. Нос прямой, иногда (не особенно редко) орлиный или вздернутый кверху; губы большие и довольно часто отвороченные. Скулы хотя отчасти и выдаются, но не резко, как у монголов; лицо вообще продолговатое, но не плоское; череп круглый; зубы отличные, белые.

Общий цвет кожи и лица смуглый, у женщин иногда матовый; кроме того, женщины вообще меньше ростом, нежели мужчины.

В противоположность монголам и китайцам, у тангутов сильно растут усы и борода, но они всегда их бреют. Волосы на голове также бреют, оставляя косу на затылке; ламы же, как и у монголов, бреют всю голову.

Женщины носят длинные волосы, разделяя их посередине и сплетая по бокам головы в мелкие косички от 15 до 20 на каждой стороне; в эти косички щеголихи вплетают бусы, ленты и тому подобные украшения. Кроме того, женщины румянят себе лицо, употребляя для этой цели китайские румяна, а летом землянику, которая в изобилии растет по горным лесам. Впрочем, обычай румяниться мы заметили только в Гань-су; на Куку-норе и в Цайдаме его нет, быть может, потому, что здесь трудно доставать снадобья, необходимые для этой цели.

Одежда тангутов делается из сукна или из бараньих шкур, что обуславливается местным климатом: чрезвычайно сырым летом и холодной зимой. Летняя одежда как мужчин, так и

женщин состоит из серого суконного халата, который достает только до колен, китайских или собственного произведения сапог и войлочной, обыкновенно серой, низкой шляпы с широкими полями.

Рубашек и панталон тангуты никогда не носят, так что даже зимой шубы надеваются прямо на голое тело; верхние части ног обыкновенно остаются непокрытыми исподним платьем. Богатые надевают халаты из синей китайской дабы, что уже считается щегольством, а ламы, так же как и у монголов, носят красную, реже желтую, одежду.

Вообще одеяние тангутов далеко беднее, нежели монголов, так что шелковый халат, сплошь и рядом попадающийся в Халхе, в тангутской стране можно встретить только как исключительную редкость. Но какова бы ни была одежда и время года, тангут постоянно опускает свой правый рукав, так что рука и часть груди этой стороны остаются голыми; подобная привычка не покидается даже в дороге, конечно, если тому благоприятствует состояние погоды.

Многие щеголи делают оторочку своей одежды барсовыми шкурами, получаемыми из Тибета, и, сверх того, в левом ухе носят большую серебряную серьгу с вставленным в нее красным гранатом. Затем огниво и ножик за поясом на спине, кисет и трубка на левом боку необходимые принадлежности костюма каждого тангута. Кроме того, на Куку-норе и в Цайдаме все они, равно как и монголы, носят за поясом длинные широкие тибетские сабли. Железо на этих саблях крайне плохое, хотя цена их очень высока; по 3–4 лана за самый простой клинок и до 15 лан за клинок с лучшей отделкой.

Женщины, как упомянуто выше, носят ту же самую одежду, что и мужчины; только при парадном одеянии они навешивают через плечи широкие полотенца, украшенные белыми кружками около дюйма в диаметре. Эти кружки делаются из раковин и насаживаются один от другого на расстоянии 2 дюймов. Кроме того, красные бусы, подобно тому, как и у монголов, составляют самую существенную сторону щегольства богатых женщин.

Универсальное жилище тангута составляет черная палатка, сделанная из грубой и редкой, как сито, шерстяной ткани. Палатка прикрепляется к четырем кольям по углам, а бока ее притягиваются на петлях к земле; в середине почти плоской верхушки находится продольный разрез, шириной около фута, для выхода дыма; этот прорез закрывается во время дождя и на ночь.

Только в богатой лесами гористой области Гань-су черная палатка заменяется иногда деревянной избой или фанзой, там, где тангуты живут вместе с китайцами и, подобно им, занимаются хлебопашеством. По своему наружному виду тангутские деревянные избы сильно напоминают наши курные белорусские, но постройка этих изб хуже. В них вовсе нет деревянного пола, и даже самые стены сделаны без сруба, прямо из неотесанных бревен, положенных одно на другое. Промежутки между бревнами замазываются глиной, а плоская крыша состоит из накатника, сверху которого насыпана земля; в середине такой крыши устроено, вроде окна, отверстие для выхода дыма.

Но и подобное жилище слишком комфортно в сравнении с черной палаткой. Здесь, по крайней мере, тангут защищен от непогоды, между тем как в черном шатре его то мочит летний дождь, то морозит зимний холод.

Главное занятие тангутов скотоводство, которое доставляет все необходимое для их незатейливой жизни. Из домашнего скота тангуты разводят всего более яков и баранов (не курдючных), в меньшем числе держат лошадей и коров. Богатство скота вообще весьма

велико, что, конечно, обуславливается обилием превосходных пастбищ по горам Гань-су и в степях озера Куку-нор; там и здесь нам нередко случалось видеть стада сарлоков в несколько сот, а баранов даже в несколько тысяч голов, принадлежащих одному хозяину. Но владельцы подобных стад все-таки живут в грязных, черных палатках, как самые бедные из их собратьев.

Много-много, если богатый тангут наденет дабовый халат вместо простого суконного да съест лишний кусок мяса, во всем остальном жизнь этого человека ничем не отличается от жизни его прислуги.

Характерным животным тангутской земли и неразлучным спутником тангута является длинношерстый як. Это животное разводится также в Алашаньских горах и в большом числе содержится монголами северной части Халхи, обильной горами, водой и привольными пастбищами. Все это составляет необходимое условие для яка, который живет хорошо исключительно в местностях гористых и притом значительно поднятых над уровнем моря. Вода составляет необходимую потребность для яков; они очень любят купаться и так ловко плавают, что на наших глазах не раз переплывали быстрый Тзтунг-гол, даже с вьюком на спине. По величине домашние яки равняются нашему обыкновенному рогатому скоту, а по окраске шерсти бывают черные или пестрые, то есть черные с белыми пятнами; совершенно белые яки встречаются лишь изредка.

Несмотря на свое вековое рабство, як достаточно сохранил буйный нрав дикого животного; движения его быстры и ловки; в раздраженном состоянии он делается опасным для человека своей свирепостью.

Как домашнее животное як в высшей степени полезен. Он не только доставляет шерсть, превосходное молоко и мясо, но употребляется и для перевозки тяжестей.

Правда, чтобы завьючить яка, нужно большое искусство и терпение, но зато он с кладью в 5–6 пудов отлично идет по высоким и крутым горам, иногда самыми опасными тропинками. Верность и твердость шага описываемого животного изумительны; як лепится иногда по таким карнизам, где едва мог бы пробраться козел или дикий баран.

В тангутской земле, где мало верблюдов, яки служат почти исключительно вьючными животными, и на них отправляются большие караваны из Куку-нора в Лассу.

В горах Гань-су стада яков пасутся почти без всякого присмотра; целый день они бродят на пастбищах, а на ночь пригоняются к палаткам своих хозяев.

Молоко, доставляемое коровами яков, превосходного вкуса и густо, как сливки; масло, из него приготовляемое, всегда желтого цвета и по качеству далеко выше масла коровьего. Словом, як во всех отношениях чрезвычайно полезное создание, и нельзя не пожелать, чтобы это животное распространилось у нас в Сибири и в тех местах Европейской России, которые могут доставить ему привольную жизнь, как, например, на Уральских горах и на Кавказе, тем более что подобная акклиматизация не представит особенных затруднений.

Тангуты ездят на яках даже верхом. Для управления животным как при верховой езде, так и при вьючной яку продевают сквозь ноздри большое и толстое деревянное кольцо, за которое привязана веревка, заменяющая узду.

Яки охотно скрещиваются с домашними коровами, и быки от такой помеси, называемые монголами и тангутами «хайнык», гораздо сильнее и выносливее для вьючной езды, а потому ценятся несравненно дороже.

Небольшая часть из виденных нами тангутов, живущих вместе с китайцами в окрестностях Чейбсена, занимается земледелием, но оседлая жизнь, видимо, не по нутру их подвижной натуре. Оседлые тангуты всегда завидуют кочевым собратьям, которые со своими стадами бродят с пастбища на пастбище; притом пастушеская жизнь, конечно, всего менее доставляет забот ленивому характеру этого народа.

На своих кочевьях тангуты всегда располагаются по несколько юрт вместе и очень редко живут в одиночку, что сплошь и рядом делают монголы. Вообще характер и привычки обоих этих народов совершенно противоположны. В то время как монгол привязан исключительно к сухой, бесплодной пустыне и боится сырости более чем других невзгод своей родины, тангут, обитающий в стране, лежащей рядом с Монголией, но прямо противоположной ей по своему физическому характеру, сделался человеком совсем иного закала. Влажность климата, горы, роскошные пастбища вот что манит к себе тангута, который ненавидит пустыню и боится ее как смертельного врага.

В лесных горах Гань-су некоторые тангуты, только очень немногие, занимаются точением деревянной посуды чашек для еды и для сохранения масла; впрочем, последнее сберегается главным образом в сарлочьих или бараньих брюшинах.

Более других развитое, можно сказать даже единственное, занятие тангутов это сучение сарлочьей (реже бараньей) шерсти для сукна, из которого делается вся местная одежда. Сучение производится как дома, так и походя, на длинной (3–4 фута) палке, к вершине которой приделана рогулька для висячего веретена. Однако тангуты сами не ткут сукна из приготовляемых ниток, но отдают эту работу китайцам. Замечательно, что в Гань-су измерение сукна при покупке (по крайней мере, у тангутов) производится размахом рук, так что величина меры и сообразно тому плата за нее зависят от роста покупателя.

В тангутской стране, где кирпичный чай, по случаю дунганских смут, очень дорог, его заменяют сушеными головками желтого лука, в изобилии растущего по горам, и еще какой-то травой, которую сушат и прессуют наподобие табака. Главная фабрикация такого чая происходит в городе Донкыре, а потому он известен под именем «донкырского». Отвратительный настой этой травы тангуты приправляют молоком и пьют в невероятном количестве. Подобно тому, как и у монголов, котел с чаем целый день не сходит с очага, и чаепитие производится, наверное, около 10 раз в день; каждый гость непременно угощается чаем.

Необходимую принадлежность чая составляет дзамба, горсть которой сыплется в чашку, до половины наполненную чаем, и затем разминается здесь руками в крутое тесто, к которому для вкуса подбавляется масло и сушеный творог (чурма). Впрочем, подобные добавления встречаются только у зажиточных; бедные же довольствуются одной дзамбой с чаем. Это составляет главную пищу тангутов, которые вообще мало едят мяса. Даже богатый тангут, владеющий несколькими тысячами голов скота, редко убьет для себя барана или сарлока.

После чая и дзамбы тангуты едят всего более тарык, то есть вскипяченное скисшее молоко, с которого предварительно сняты сливки для масла. Тарык самая любимая молочная пища тангутов, и его можно найти в каждой палатке; сверх того, богатые готовят из творога с маслом особый сыр, но это уже считается великой роскошью.

Так как тангуты, за весьма малыми исключениями, сами не занимаются земледелием, то для покупки дзамбы, равно как и прочего необходимого, они ездят в город Донкыр, составляющий самое важное торговое место описываемого народа. Сюда тангуты гонят скот, везут шкуры, шерсть и меняют все это на дзамбу, табак, дабу, китайские сапоги и прочее, так что торговля в Донкыре главным образом меновая.

На Куку-норе и в Цайдаме даже цена вещей определяется не деньгами, но количеством баранов, идущих в обмен.

Приветствие при встрече у тангутов состоит в том, что они вытягивают горизонтально обе руки и говорят «ака-тэму», то есть «здравствуй». Слово «ака», подобно тому, как у монголов «нохор», выражает здесь то же, что наше «господин» или "милостивый государь", и часто употребляется в разговорах. При первом знакомстве и вообще при посещении кого-либо, в особенности важного лица, тангуты всегда дарят шелковый хадак; качеством хадаков до некоторой степени определяется взаимное расположение гостя и хозяина.

Подобно монголам, тангуты чрезвычайно усердные буддисты и притом страшно суеверны. Различное колдовство и гаданье рядом с процессиями религиозного культа встречаются у описываемого народа на каждом шагу. Усердствующие богомольцы ежегодно отправляются в Лассу. Ламы у тангутов во всеобщем почитании, и влияние их на народ безгранично. Только кумирни в тангутской земле встречаются реже, нежели в Монголии, так что гыгены, которых здесь также довольно много, иногда живут в черных палатках вместе с простыми смертными. Последние по окончании жизни не зарываются в землю, но выбрасываются в лес или в степь на съедение грифам и волкам.

часть 4

Озеро Куку-нор, называемое тангутами «Цок-гумбум», а китайцами "Цин-хан"* , лежит к западу от города Синина, на высоте 10 500 футов над уровнем моря. * Монгольское имя означает "Голубое озеро", китайское "Синее море"; перевод же тангутского названия Куку-нор мы не могли узнать достоверно. У местных и вообще у южных монголов описываемое озеро называется «Хуху-нор», то есть твердая буква «к» передельвается в более мягкий звук «х». (Примеч. автора.) По своей форме оно представляет эллипсис, вытянутый большой осью от запада к востоку. Окружность описываемого озера простирается от 300 до 350 верст. Точной меры узнать было невозможно, но местные жители говорили нам, что нужно две недели для обхода озера пешком и от семи до восьми дней для объезда его на верховой лошади.

Берега Куку-нора не извилисты и очень мелки; вода соленая, негодная для питья.

Но эта соленость придает поверхности описываемого озера превосходный темую-голубой цвет, на который обращают внимание даже монголы и удачно сравнивают его с цветом голубого шелка. Вообще вид Куку-нора чрезвычайно красив, в особенности когда мы застали это озеро поздней осенью, и окрестные горы, уже покрытые снегом, стояли белой рамкой широких, бархатно-голубых вод, убежавших к востоку от нашей стоянки за горизонт.

С береговых гор в Куку-нор течет много небольших речек, но более значительных притоков считается восемь; из них самый большой Бухайн-гол, впадающий в юго-западный угол описываемого озера.

Как и на других больших озерах, даже слабый ветер разводит здесь сильное волнение, так что Куку-нор редко бывает спокоен и то лишь на самое короткое время. Сильные ветры, по словам жителей, господствуют здесь в период замерзания озера, что происходит около половины ноября; вскрывается же оно в конце марта; следовательно, бывает покрыто льдом 4,5 месяца.

В западной части Куку-нора, верстах в двадцати от его южного берега, лежит скалистый остров, имеющий в окружности от 8 до 10 верст. Здесь построена небольшая кумирня, в которой живут 10 лам. Летом сообщение их с берегом прервано, так как на всем Куку-норе нет ни одной лодки и никто из жителей не занимается плаванием по озеру. Зимой к отшельникам приходят по льду богомольцы и приносят в дар масло или дзамбу; в это время сами ламы также отправляются на берег собирать для себя подаяние.

Куку-нор обилен рыбой, но рыболовством занимаются здесь лишь несколько десятков монголов, которые возят свою добычу на продажу в город Донкыр. Снарядами для рыбной ловли служат небольшие сети; ими ловят преимущественно в береговых речках.

Рыба, которую нам случилось видеть у монголов или ловить самим, вся принадлежала к одному только виду*. * Этот вид оказался новым и относится к семейству карповых, его назвали шизопигопсис Пржевальского. (Примеч. редактора.)

Однако рыбаки уверяли нас, что в озере водятся несколько других пород рыб, но они редко их ловят своими жалкими снарядами. О происхождении Куку-нора у местных жителей существует легенда, которая гласит, что нынешнее озеро некогда находилось под землей в Тибете, там, где теперь стоит Ласса, и уже заведомо для людей перешло на свое настоящее место.

Такое событие совершилось следующим образом.

Во времена очень древние, когда еще не существовало нынешней резиденции далай-ламы, один из тибетских царей вздумал построить великолепный храм в честь Будды и, выбрав для этого место, приказал начать работу. Несколько тысяч людей трудились целый год, но когда здание было почти готово, оно вдруг разрушилось само собой.

Работу начали снова, и опять, лишь только довели до конца, храм рухнул от неизвестной причины; то же самое повторилось и в третий раз. Тогда удивленный и уstraшенный царь обратился к одному из гыгенов для разъяснения причины подобного явления. Однако пророк не мог дать удовлетворительного ответа, но объявил своему повелителю, что в далеких странах Востока есть святой, который один из всех смертных знает желаемую тайну, и что если удастся выпытать ее у него, тогда постройка храма будет окончена благополучно.

Получив подобный ответ, тибетский царь выбрал заслуженного ламу и послал его искать вышеупомянутого святого.

В течение нескольких лет посланный лама объездил почти все буддийские земли, посетил знаменитые кумирни, виделся и говорил с различными гыгенами, но нигде не мог найти человека, указанного тибетским пророком. Огорченный неудачей своей миссии,

посланник решил вернуться домой и на этом обратном пути проезжал обширные степи на границе Тибета с Китаем.

Здесь однажды у него сломалась пряжка у подпруги седла, и путник, чтобы починить ее, зашел в одинокую бедную юрту, видневшуюся невдалеке. В этой юрте он увидел слепого старика, который был занят молитвой, но приветствовал своего гостя и предложил ему взять новую пряжку от собственного седла. Затем старик пригласил ламу пить чай и стал расспрашивать, откуда он и куда ездил. Не желая без нужды разглашать цель своего путешествия, посланец отвечал, что он родом с востока и ездит теперь молиться по разным кумирням.

"Да, мы счастливы, сказал старик, что имеем много прекрасных храмов, каких нет в Тибете. Там напрасно принимаются строить большую кумирню; это здание никогда не устоит, потому что в том месте, где хотят его воздвигнуть, находится подземное озеро, которое колеблет почву. Только ты должен хранить этот секрет в тайне, потому что если кто-нибудь из тибетских лам его узнает, тогда воды подземного озера придут сюда и погубят нас.

Лишь только старик окончил свою речь, как путник вскочил с места, объявил, что он именно есть тибетский лама, которому нужно было узнать секрет, сел на свою лошадь и ускакал. Отчаяние и страх овладели стариком. Он начал громко звать о помощи, и когда наконец пришел один из его сыновей, пасший невдалеке стадо, то старик велел ему тотчас оседлать коня, догнать ламу и отнять у него «язык». Под этим словом святой разумел свою тайну и, отдавая сыну приказание отнять ее, тем самым уполномочивал его убить путника. Но слово «хылэ» по-монгольски означает язык у человека или животных и также язычок в пряжке подпруги. Поэтому, когда посланный догнал ламу и объяснил ему, что его отец требует возвратить «хылэ», тот отстегнул взятую у старика пряжку и беспрекословно ее отдал. Получив такой «хылэ», сын возвратился к своему отцу, и когда последний узнал, что привезена пряжка от подпруги, а сам лама уехал далее, то воскликнул: "Такова, вероятно, воля божия, теперь все кончено, мы погибли!" Действительно, в ту же ночь раздался страшный подземный гул, земля раскрылась, и из нее полилась вода, которая вскоре затопила обширную равнину. Множество стад и людей погибло, в том числе и проболтавшийся старик. Наконец бог сжалился над грешниками. По его велению, явилась чудовищная птица, взяла в свои лапы огромную скалу в горах Нань-шань и бросила ее на то отверстие, откуда изливалась вода. Прибыль последней была остановлена, но затопленная равнина осталась озером; спасительная же скала явилась на нем островом, который существует и доныне.

Самым замечательным животным куку-норских степей может считаться дикий осел, или хулан, называемый тангутами «джан». Этот зверь по величине и наружности походит на мула; цвет его шерсти сверху тела светло-коричневый, снизу чисто белый. Хулан встречен был нами в первый раз на верховьях Тэтунг-гола, там, где горы Гань-су делаются безлесными и принимают луговой характер. Начиная отсюда дикий осел распространяется через Куку-нор и Цайдам в Северный Тибет, но в самом большом количестве живет на привольных лугах озера Куку-нор.

Впрочем, степи не составляют исключительного местопребывания описываемого животного; оно не избегает и гор, если только в них имеются пастбища и хорошая вода. В Северном Тибете мы встречали иногда хуланов в высоких горах, где они паслись вместе с куку-яманами.

Хуланы обыкновенно держатся стадами от 10 до 50 голов; табуны в несколько сот экземпляров встретились нам лишь в степях Куку-нора. Впрочем, и здесь такие стада, вероятно, образуются случайно, и мы не раз видали, как они разбивались на несколько партий, уходивших в разные стороны.

Каждое отдельное стадо состоит из кобыл, которыми предводительствует жеребец.

Смотря по возрасту, силе и смелости последнего, число кобыл бывает больше или меньше, так как первым условием вербовки подобного гарема, по всему вероятно, служат личные качества вожака. Старые, опытные самцы собирают в один косяк иногда до полусотни наложниц, тогда как молодые жеребцы довольствуются 5 или 10 кобылами. Очень молодые или особенно несчастливые жеребцы бродят в одиночку и только издали могут завидовать благополучию более взрослых и счастливых соперников. Последние неусыпно наблюдают за подобными подозрительными личностями и ни в каком случае не позволяют им приближаться к своим гаремам.

Внешние чувства хулана развиты превосходно: он видит и чует удивительно. Убить это животное очень трудно, в особенности в равнинной местности. Здесь самое лучшее идти прямо к стаду, которое подпускает охотника шагов на пятьсот и в редких случаях даже на четыреста. Но на такое расстояние даже из превосходного штуцера нельзя рассчитывать на верный выстрел, тем более что хулан удивительно крепок на рану. При подходе на открытой местности никогда не следует спускаться во встречные рвы или вообще в углубления почвы, так как хуланы в подобном случае тотчас подозревают засаду и пускаются на уход.

Изредка на пересеченной местности удастся подкрасться к описываемому зверю шагов на двести или ближе, но и в таком случае хулан не будет убит наповал, если пуля не попадет в мозг, сердце или позвоночный столб. Даже с перебитой ногой он еще ухитрится бежать, но вскоре залегает где-нибудь во рву или в яме. Всего удобнее подкарауливать хуланов на водопое, как то и делают местные жители, которые весьма ценят мясо этого животного, в особенности осенью, когда оно бывает очень жирно.

Испуганный хулан пускается бежать всегда под ветер, подняв вверх свою большую безобразную голову и оттопырив тонкий маловолосистый хвост. Во время бега стадо следует за вожаком, обыкновенно вытянувшись в одну линию. Отбежав несколько сот шагов, оно останавливается, толпится в кучу и, повернувшись к предмету испуга, смотрит сюда в течение нескольких минут при этом жеребец выходит вперед и старается разузнать, в чем дело. Если охотник продолжает наступать, то хуланы опять бросаются на уход и бегут на этот раз уже гораздо дальше. Но вообще описываемый зверь далеко не так осторожен, как то может казаться при первом с ним знакомстве. Голос хулана я слышал только два раза: однажды, когда жеребец загонял отбившихся от стада самок, а в другой раз, когда он дрался с другим самцом. Этот голос слышен как глухое, но довольно громкое и отрывистое рывканье, соединенное с храпением.

По выходе из гор Гань-су наши верблюды, истомленные трудной дорогой, сделались окончательно негодными к дальнейшему пути... По счастью, на Куку-норе было много верблюдов, так что мы без труда и очень дешево променяли своих усталых животных, приплатив средним числом от 10 до 12 лан за каждого. Теперь мы снова владели 11 свежими верблюдами. Но увы! в кармане у нас осталось менее 100 лан денег. С такой ничтожной суммой нечего было и думать добраться до Лассы, хотя обстоятельства этому вполне благоприятствовали. Именно, через несколько дней по прибытии нашем на Куку-нор, к нам приехал тибетский посланник, который отправлен был в 1862 году далай-ламой

с подарками к богдохану, но попал сюда как раз в то время, когда началось дунганское восстание в Гань-су и Синин был занят инсургентами. С тех пор, то есть целых 10 лет, этот посланник жил на Куку-норе или в городе Донкыре, не имея возможности пробраться в Пекин и не смея ворочаться назад в Лассу. Услышав, что четверо русских прошли через ту страну, которую он не решается пройти с сотнями своих конвойных, тибетский посланник приехал "посмотреть на таких людей", как он сам выразился.

Этот посланник, по имени Камбы-нанту, оказался очень любезным, предупредительным человеком и предлагал нам свои услуги в Лассе. В то же время он уверял, что далай-лама будет очень рад видеть у себя русских и что мы встретим самый радушный прием в столице тибетского владыки. С грустью слышали мы такие рассказы, зная, что только один недостаток материальных средств мешает нам пробраться в глубь Тибета. А скоро ли выпадет такой благоприятный случай для другого путешественника?

Да и сколько затрат потребуется вновь для достижения цели, которая могла бы быть теперь выполнена сравнительно небольшими средствами! Имей мы на Куку-норе 1000 лан денег, то, наверное, дошли бы до Лассы, а оттуда могли предпринять путь на озеро Лоб-нор или в какие-либо другие местности.

Таким образом, вынужденные отказаться от намерения пройти до столицы Тибета, мы тем не менее решили идти вперед до крайней возможности, зная, насколько ценно для науки исследование каждого лишнего шага в этом неведомом уголке Азии.

Цайдамские равнины, бывшие, по всему вероятно, в недавнюю геологическую эпоху дном огромного озера, представляют сплошное болото, почва которого настолько пропитана солью, что эта соль местами лежит толстой (0,5–1 дюйма) корой наподобие льда.

Затем здесь довольно часто встречаются топи, небольшие речки и озера, а в западной части описываемой страны находится большое озеро Хара-нор. Из рек самая большая Баян-гол, которая в том месте, где мы ее переходили (по льду), имеет 230 сажен ширины, но незначительную глубину, всего фута 3, и топкое, иловатое дно.

Глинисто-соленая почва этой страны, конечно, не способна производить разнообразной растительности. За исключением лишь нескольких видов болотных трав, местами образовавших площади вроде лугов, все остальное пространство покрыто тростником вышиной от 4 до 6 футов. Сверх того, на местах, где посуше, является в изобилии хармык, найденный нами уже в Ордосе и Ала-шане, но достигающий здесь размеров саженного куста. Его сладко-соленые ягоды, обыкновенно всегда очень урожайные, составляют, подобно алашаньскому сульхиру, главную пищу как людей, так и животных Цайдама. Местные жители монголы и тангуты поздней осенью собирают подсохшие на ветках ягоды хармыка и делают из них запас на целый год. Эти ягоды варят в воде и едят, смешав с дзамбой; кроме того, пьют сладко-соленый отвар.

Ягодами хармыка питаются почти все птицы и звери Цайдама, не исключая даже волков и лисиц; верблюды также очень любят подобное лакомство. Впрочем, в Цайдаме зверей мало, чему причиной, вероятно, соленая почва, которая сильно портит подошвы лап и копыта животных. Лишь изредка здесь можно встретить хара-сульту или хулана и несколько чаще волка, лисицу или зайца. Малое количество зверей обуславливается еще тем обстоятельством, что летом болота Цайдама кишат мириадами комаров, мошек и оводов, так что даже местные жители откочевывают на это время в горы со своими стадами.

Монголы сообщали нам, что болота Цайдама тянутся к западо-северо-западу дней на пятнадцать пути от того места, по которому мы шли; далее, на протяжении нескольких дней ходу, залегают голая глина, за которой находится степное и частью холмистое место Гаст, обильное водой и пастбищами. Однако здесь никто не живет, но водится множество хуланов; за ними приезжают охотники с озера Лоб-нор, до которого от Гаства всего семь дней пути.

Вообще из Восточного Цайдама, где мы были, до озера Лоб-нор, по уверению местных жителей, около месяца пути, следовательно 750–900 верст, полагая на каждый дневной переход 25–30 верст. За хорошую плату в Цайдаме можно найти проводника по крайней мере до Гаства, откуда уже нетрудно попасть и на Лоб-нор.

Такой путь, кроме громадной важности географических исследований, представил бы возможность решить в высшей степени интересный вопрос о диких верблюдах и диких лошадях. В существовании тех и других нас единогласно уверяли монголы Цайдама и подробно описывали каждое животное.

По словам рассказчиков, дикие верблюды обитают в достаточном числе в Северо-Западном Цайдаме, где местность представляет совершенную пустыню с сухой глинистой почвой, поросшей бударганой. Вода здесь встречается чрезвычайно редко, но верблюды не стесняются этим и ходят на водопой за целую сотню верст, а зимой довольствуются снегом.

Дикие верблюды живут небольшими обществами от 5 до 10, редко до 20 экземпляров; в большие стада никогда не соединяются.

По своей наружности они мало отличаются от домашних верблюдов; только у диких туловище тоньше и морда острее; кроме того, у них шерсть имеет сероватый цвет.

Монголы Западного Цайдама охотятся за дикими верблюдами и бьют их для еды преимущественно поздней осенью, когда эти животные бывают очень жирны.

Отправляясь на такую охоту, промышленники берут с собой большой запас льду, чтобы не погибнуть от безводия тех местностей, в которых водятся дикие верблюды.

Последние, вероятно, не очень осторожны, если их можно бить из фитильных ружей.

Монголы говорили нам, что дикий верблюд отлично обоняет и видит вдаль, но на близком расстоянии зрение его гораздо хуже. В феврале, в период течки, самцы делаются чрезвычайно смелы и иногда прибегают к караванам, которые следуют из Цайдама в город Аньси-чжоу. Случается, что караванные верблюды уходят тогда вместе с дикими и уже больше не возвращаются. Кроме Цайдама, мы и прежде слышали рассказы монголов о диких верблюдах, которые водятся в земле тургутов в пустынях от озера Лоб-нор к Тибету. 18 ноября мы достигли ставки начальника хошуна Дзун-засак, откуда, по приказанию кукуиорского гыгена, должны были дать нам проводника до Лассы. Мы всё еще скрывали, что не попадем туда, чтобы не возбудить подозрения. Хошунный князек долго затруднялся, кого с нами отправить, и дело затянулось на целых три дня.

Наконец к нам явился монгол, по имени Чу-тун-дзамба, который девять раз ходил в Лассу проводником караванов. После долгих переговоров и обычного чаепития мы наняли этого

старика очень дешево, по семи лан в месяц, при нашем продовольствии и верховом верблюде. Сверх того, мы обещали Чутун-дзамбе награду за усердное исполнение своих обязанностей и на следующий день отправились в Тибет, намереваясь пройти по этой неведомой стране хотя бы до верховьев Голубой реки.

* * * Как осеннее, так и, в особенности, весеннее путешествие караванов через Северный Тибет никогда не обходится благополучно.

Много людей, а в особенности верблюдов и яков гибнет в этих страшных пустынях.

Подобные потери здесь так обыкновенны, что караваны всегда берут в запас четверть, а иногда даже треть наличного числа вьючных животных. Иногда случается, что люди бросают все вещи и думают только о собственном спасении. Так, караван, вышедший в феврале 1870 года из Лассы и состоявший из 300 человек с 1 000 вьючных верблюдов и яков, потерял вследствие глубоковыпавшего снега и наступивших затем холодов всех вьючных животных и около 50 людей. Один из участников этого путешествия рассказывал нам, что когда начали ежедневнодохнуть от бескормицы целыми десятками вьючные верблюды и яки, то люди принуждены были бросить все товары и лишние вещи потом понемногу бросали продовольственные запасы, затем сами пошли пешком и напоследок должны были нести на себе продовольствие, так как в конце концов остались живыми только три верблюда, да и то потому, что их кормили дзамбой. Весь аргал занесло, глубоким снегом, так что отыскивать его было очень трудно, а для растопки путники употребляли собственную одежду, которую поочередно рвали на себе кусками. Почти каждый день кто-нибудь умирал от истощения сил, а больные, еще живыми, все были брошены на дороге и также погибли.

Но, несмотря на все свое бесплодие и неблагоприятные климатические условия, пустыни Северного Тибета чрезвычайно богаты животной жизнью. Не видавши собственными глазами, невозможно поверить, чтобы в этих обиженных природой местностях могло существовать такое громадное количество зверей, скопляющихся иногда в тысячные стада. Только бродя с места на место, эти сборища могут находить достаточно для себя корма на скудных пастбищах пустыни. Зато звери не знают здесь своего главного врага человека и вдали от его кровожадных преследований живут свободно и привольно.

Характерные и наиболее многочисленные млекопитающие тибетских пустынь суть: дикий як, белогрудый аргали, куку-яман, антилопы оронго и ада, хулан и желтовато-белый волк. Кроме того, здесь живут: медведь, манул, лисица, корсак, заяц, сурок и два вида пищухи.

Часть этих животных была уже встречена нами в Гань-су и на Куку-норе, так что здесь я расскажу подробно только о собственно тибетских видах, среди которых на первом плане, несомненно, должен стоять дикий як, или длинношерстый бык.

Это великолепное животное действительно поражает своей громадностью и красотой.

Старый самец достигает почти 11 футов длины без хвоста, на который вместе с густыми волнистыми и длинными волосами, его украшающими, приходится еще 3 фута вышины животного у горба 6 футов; окружность туловища посередине 11 футов, а вес приблизительно 35–40 пудов. Голова яка украшена огромными рогами, длиной 2 фута 9 дюймов. Тело описываемого животного покрыто густой и грубой черной шерстью, которая у старых самцов принимает коричневый оттенок на спине и верхней части боков. Низ тела, подобно хвосту, снабжен длинными черными волосами, свешивающимися в

виде широкой бахромы. Шерсть на морде с проседью, которая у молодых экземпляров является на всей верхней части тела; вдоль спины у них тянется узкая серебристая полоса. Кроме того, у молодых яков шерсть гораздо мягче и не имеет коричневого оттенка, но совершенно черная. Молодые самцы, хотя уже и взрослые, много меньше старых, но зато рога у них гораздо красивее и загибаются концами назад; между тем у старых быков рога загнуты концами более, внутрь, а при основании всегда покрыты морщинистым серовато-бурым наростом.

Самки несравненно меньше самцов и далеко не так красивы, как эти последние. Рога у них короткие и тонкие; горб очень мал, волосы на хвосте и на боках туловища далеко не так роскошны, как у быков.

Чтобы иметь полное понятие о диком яке, нужно видеть это животное в его родных пустынях. Как сказано выше, это обширные плоскогорья, поднятые на 13–15 тысяч футов абсолютной высоты. Они прорезаны громадными хребтами гор, дикими и бесплодными, как вся вообще природа этих стран. Оголенная почва только кое-где прикрыта здесь скудной травой, да и той невозможно как следует развиваться при постоянных холодах и бурях, господствующих большую часть года. В таких негостеприимных местностях, среди самой унылой природы, но зато вдали от беспощадного человека живет на свободе знаменитый длинношерстый бык, известный еще древним под именем "поэфагус".

Впрочем, этот характерный зверь Тибетского нагорья распространяется к северу далее границы Тибета. Он встречается, и, как говорят, в значительном числе, на горах Гань-су, в верховьях рек Тэтунга и Эцзинэ, где в то же время проходит северная граница географического распространения описываемого животного. Но в Гань-су дикий як из года в год уменьшается в числе, будучи сильно преследуем местными жителями.

Физические качества яка далеко не так совершенны, как у других диких животных.

Правда, этот зверь обладает громадной силой и превосходным обонянием, но зато зрение и слух развиты у него довольно слабо. Даже на ровной местности и в ясный день як едва ли отличит на 1000 шагов человека от других предметов; в сумрачную же погоду он замечает охотника лишь на половинное расстояние. Точно так же шорох шагов или какой-либо другой шум возбуждают внимание описываемого зверя лишь тогда, когда достигнут крайней степени; зато як одарен превосходным обонянием и по ветру чует человека за полверсты, если не более.

Умственные способности яка, подобно тому, как и других быков, стоят на весьма низкой степени; об этом можно судить по чрезвычайно малому количеству головного мозга у описываемого животного.

На покормке стадо яков обыкновенно ходит немного врассыпную, но отдыхает, лежа плотной кучей. В подобную же кучу оно собирается, заметив опасность, причем телята становятся внутри, а несколько взрослых самцов и самок выходят вперед и стараются разузнать, в чем дело. Если тревога произошла даром и охотник подходит ближе, а в особенности если он сделает выстрел, то вся столпившаяся громада пускается опрометью на уход, частью рысью, частью же галопом. При последнем беге многие животные наклоняют головы книзу, хвосты загибают на спину и мчатся вперед без оглядки; пыль поднимается густым столбом, топот копыт слышен очень далеко.

Впрочем, такая бешеная скачка обыкновенно продолжается недалеко редко версту, часто же и того менее. Затем испуганное стадо начинает бежать тихой рысью и вскоре

останавливается в прежнем порядке, то есть молодые внутри кучи, а взрослые по ее наружной окраине. Если охотник снова приближается, то повторяется прежняя история, и вообще однажды напуганное стадо уходит далеко.

Бег одиночного яка рысистый; вскачь он бросается только несколько шагов с места, да и то лишь тогда, когда бывает напуган. На лошади всегда легко догнать описываемого зверя, как бы он ни бежал. По горам самым высоким и скалистым як лазает превосходно; мы видали этих зверей на таких крутизнах, куда взобраться было впору лишь куку-яману.

Большие стада яков зимой обыкновенно держатся в местах, обильных пастбищами, тогда как отдельные самцы или их небольшие общества встречаются везде и всюду. В пройденной нами северной части Тибета яки-быки начали попадаться тотчас же за хребтом Бурхай-Будда, тогда как стада этих животных явились лишь возле Баян-хара-ула, а в особенности на южном склоне этих гор и по берегам Мур-усу; до тех пор только два раза встретили небольшие стада возле реки Шуга.

Монголы говорят, что летом, когда растет молодая трава, большие стада также доходят до Бурхан-Будды, кочуя с места на место, но на зиму они всегда возвращаются к берегам Мур-усу; старые же самцы, которым не нравятся дальние переходы, остаются на прежних местах и зимой.

Самую крупную черту характера дикого яка составляет лень. Утром и перед вечером описываемый зверь идет на пастбище, а остальную часть дня проводит в ненарушимом покое, которому предается лежа или иногда даже стоя. Одно пережевывание жвачки свидетельствует в это время, что як жив; во всем остальном он походит на истукана; даже голова остается в одном и том же положении по целым часам.

Для лежбища як выбирает всего чаще северный склон горы или какой-нибудь обрыв, чтобы избежать солнечных лучей, так как он вообще не любит тепла. Даже в тени этот зверь всего охотнее ложится на снег, а если его нет, то на голую землю в пыль, нарочно разрывая для этого копытами глинистую почву; впрочем, довольно часто можно видеть отдыхающих яков там же, где они и паслись.

Места пастбищ и отдыха описываемых животных всегда сплошь покрыты пометом, который составляет единственное топливо в здешних пустынях.

Одаренный громадной физической силой, як в своих родных пустынях, вдали от человека, не имеет опасных врагов, так что большая часть этих животных умирает от старости. Впрочем, дикие яки подвержены болезни, называемой монголами «хомун», которая состоит в том, что все тело зверя мало-помалу покрывается коростой и шерсть на таких местах вылезает. Не знаю, влечет ли подобная болезнь за собой смерть или як со временем выздоравливает, но только мне самому случилось убить два старых экземпляра, у которых большая часть тела была лишена волоса и покрыта чесоткой.

Охота за диким яком насколько заманчива, настолько же и опасна, так как раненый зверь, в особенности старый самец, часто бросается на охотника. И тем страшнее становится это животное, что нельзя рассчитывать убить его наверное даже при самом полном искусстве и хладнокровии стрелка. Пуля из превосходного штуцера не пробивает кости черепа, если только не попадет прямо над мозгом, количество которого ничтожно в сравнении с громадной головой; выстрел же, направленный в туловище, зверя, только в самом редком случае может убить его наповал. Понятно, что при таких условиях охотнику невозможно рассчитывать на верный выстрел, хотя бы даже в упор, а следовательно, нельзя и ручаться

за благополучный исход борьбы с гигантом тибетских пустынь. Стрелка выручает только одна глупость и нерешительность яка, чувствующего, несмотря на свою свирепость, непреодолимый страх перед смелым человеком. Но будь як немного поумнее, то он был бы для охотника страшнее тигра, так как, повторяю, убить этого зверя сразу, наверняка, возможно лишь в самых редких случаях. Одним только числом выстрелов можно одолеть яка, а потому для охоты за ним необходимо иметь скорострельный штуцер.

Конечно, здесь дело идет о старых самцах; коровы же и вообще стада этих животных бегут без оглядки при первом выстреле.

Впрочем, и старые яки не всегда бросаются на охотника, но часто также уходят, будучи даже ранеными. В таком случае их всего лучше преследовать собаками, которые догоняют зверя, хватают его за хвост и принуждают остановиться.

Рассвирепевший як бросается тогда то на одну, то на другую собаку и не обращает внимания на охотника. Еще удобнее и безопаснее преследовать яка или даже целое стадо верхом на хорошей лошади, которая без труда догоняет тяжелого зверя. К сожалению, обе наши лошади при бескормице пустыни едва волочили ноги, а потому мы ни разу не могли испытать удовольствия верховой охоты.

Зато с каким увлечением предавались мы с товарищем пешеходным охотам за яками, в особенности сначала, когда впервые встретили этих животных! Вооруженные скорострельными штуцерами, мы выходили ранним утром из своей юрты и отправлялись на поиски за желанным зверем. Заметить его нетрудно простым глазом на расстоянии нескольких верст; в бинокль же эту черную громаду видно очень далеко, хотя иногда случается обманываться, принимая большой черный камень за лежащего яка.

Впрочем, начиная от реки Шуги, в особенности на Баян-хара-ула и по берегам Мур-усу, этих зверей везде было такое множество, что в окрестностях нашей юрты обыкновенно всегда виднелись пасущиеся или отдыхающие одиночки и даже целые стада.

Подкрасться к дикому яку на выстрел очень нетрудно, легче, чем ко всякому другому зверю. Благодаря плохому зрению и слуху описываемого животного к нему даже на открытом месте почти всегда можно подойти шагов на триста; на такое расстояние быки (не только стадо) подпускают к себе охотника, даже заметив его издали. Не испытыв преследования со стороны человека и будучи уверен в своей силе, зверь не страшится приближающегося охотника и только пристально смотрит на него, махая по временам своим огромным хвостом или закидывая его на спину. Такое маханье хвостом у яка как домашнего, так и дикого служит признаком раздраженного состояния: зверь начинает сердиться, видя, что хотят нарушить его покой.

Когда охотник продолжает наступать все ближе и ближе, то як убегает, изредка останавливаясь и посматривая в сторону человека; если же при этом он испуган выстрелом или ранен, то бежит много часов сряду.

В горах удается иногда подойти к яку на полсотни шагов, если только ветер не от охотника. Когда же як находился на местности открытой и я желал подойти к нему поближе, то употреблял для этой цели особенный способ. Приблизившись к зверю шагов на триста, я полз далее на коленях, подняв над головой штуцер с приделанными к нему для меткости стрельбы сошками таким образом, что эти сошки образовали подобие рогов. При этом на охоте я был всегда одет в сибирскую кухлянку, сделанную из молодых

оленьих шкур шерстью вверх, так что подобное одеяние также много обманывало близорукого зверя и он всегда подпускал шагов на двести или даже на сто.

Приблизившись на такое расстояние, я ставил свой штуцер на сошки, поспешно доставал патроны, клал их возле себя на снятую фуражку и, стоя на коленях, начинал стрелять. Случалось, что после первой же пули зверь пускался на уход, тогда я провожал его выстрелами шагов до шестисот, иногда даже далее. Если же як был старый самец, то гораздо чаще вместо ухода он бросался в мою сторону, нагнув вперед рога и забросив хвост на спину. При подобном нападении более всего обнаруживалась глупость описываемого животного. Вместо того чтобы выбирать одно из двух: или уходить или смело нападать, як, сделав несколько шагов в сторону выстрела, останавливался в нерешимости, вертел хвостом и тотчас же получал новую пулю. Тогда он вновь бросался вперед, и снова повторялась прежняя история, так что в конце концов зверь падал мертвым, получив с десятков, иногда даже более, пуль и все-таки не добрав до меня еще целую сотню шагов. Случалось также, что после двух трех выстрелов як пускался на уход, но, получив еще пулю вдогонку, он вновь поворачивал ко мне и опять запрашивался на выстрел.

Вообще из всех убитых или раненых нами яков только двое подбежали на 40 шагов и, вероятно, подошли бы еще ближе, если бы не были убиты; но, сколько можно было заметить, чем более приближается нападающий зверь к охотнику, тем трусливее и неохотнее он наступает.

Чтобы еще более дать понятие о подобных охотах, я расскажу, каким образом был убит як, шкура которого находится в нашей коллекции.

Однажды перед вечером мы заметили трех яков, пасшихся в горной долине, недалеко от нашей юрты. Я тотчас отправился к зверям и, приблизившись шагов на двести, выстрелил в самого большого из них. После выстрела яки пустились на уход, но, отбежав с полверсты, остановились. Я опять подкрался к ним на 300 шагов и снова выстрелил в прежнего зверя. Оба его товарища бросились бежать, но дважды раненный великан остался на месте и потихоньку шел в мою сторону. Со мной был огнестрельный штуцер Бердана. Из него я пускал в яка пулю за пулей они били, как в мишень, даже видно было, как летела пыль из того места шкуры, куда попадала пуля; но зверь все-таки то шел ко мне, то отбегал назад, получив чересчур чувствительный удар. Он находился еще шагах в ста пятидесяти, когда я расстрелял все бывшие со мной 13 пуль и, оставив одну в ружье на всякий случай, бегом пустился в свою юрту за новыми зарядами. Здесь я пригласил своего товарища, взял одного из казаков, и мы втроем отправились добывать могучего зверя. Между тем наступили сумерки, что для нас было очень невыгодно, так как меткий выстрел был уже невозможен.

Когда мы пришли к тому месту, где остался як, то нашли его лежащим на земле; только поднятая голова с огромными рогами свидетельствовала, что зверь еще жив.

Мы приблизились к нему шагов на сто и выстрелили залпом; в то же мгновение як вскочил и бросился к нам. Тогда мы начали сыпать в него пулями из трех скорострельных штуцеров, но зверь все-таки приближался к нам и наконец подошел на 40 шагов. Еще залп и як, взмахнув хвостом, пустился на уход, но, отбежав с сотню шагов, остановился. Между тем стало совершенно темно, так что я решил прекратить пальбу, тем более что можно было ручаться, что зверь издохнет ночью от полученных ран. Действительно,

назавтра утром мы нашли его уже мертвым. В туловище яка мы насчитали 15 пуль и 3 в голове; из последних ни одна не пробила толстой кости черепа, прикрытого кожей в полдюйма толщиной.

В другой раз, бродя по горам, я вдруг увидел трех лежащих яков, которые не замечали меня за крутым скатом и спокойно отдыхали. Не думая долго, я прицелился и выстрелил; тогда все три зверя вскочили, но, не зная, в чем дело, не убежали.

Вторая пуля в того же самого яка попала так ловко, что убила зверя наповал; два других его товарища продолжали стоять и, по обыкновению, махали хвостами. Третий мой выстрел был также очень удачен: он перебил второму яку ногу, и тот поневоле должен был остаться на месте. Тогда я направил свой огонь в третьего зверя, но не так скоро покончил с ним, как с двумя его товарищами. После первой же пули этот як бросился ко мне, но, пробежав с десяток шагов, остановился. Еще я посадил в него пулю, и опять як немного подвинулся в мою сторону; наконец зверь приблизился уже на 40 шагов, когда после седьмой пули кровь хлынула у него ручьем из горла и великан рухнул на землю. Затем я без труда дострелил третьего яка с перебитой ногой и таким образом, в несколько минут, не сходя с места, убил трех огромных зверей. Подойдя к ним, я увидел, что у того яка, который бросался ко мне, все семь пуль Бердана сидели в груди рядом, словно пуговицы. Нужно знать страшную силу штуцерной пули, чтобы понять, насколько был крепок зверь, который мог выдержать семь подобных ударов чуть не в упор.

После многих опытов я убедился, что всего лучше стрелять яка под лопатку, и если возможно, то в левый бок тогда штуцерная пуля даже на 200 шагов пробивает зверя насквозь (останавливаясь всегда под кожей противоположной стороны), и всего скорее может здесь задеть сердце или легкие. Впрочем, малокалиберная пуля, какова у ружья Бердана, даже пронизав сердце, не сразу убивает старого яка, который после такой раны еще бегает несколько минут. Выстрел же описываемому зверю в голову, хотя бы в упор, самый неверный; если пуля даже большого калибра попадет здесь не прямо против мозга, но хотя немного наискось, то она не пробивает костей черепа. Мне всегда приходило на мысль в случае, если як бросится решительно, стрелять ему в упор в ногу, перебив которую, сразу можно обезоружить зверя.

Коровы и молодые самцы также чрезвычайно выносливы на рану, а потому убить самку яка очень трудно, так как они ходят стадам и нет возможности направить огонь в одно и то же животное. Притом стадо всегда гораздо осторожнее, и подкрасться к нему на меткий выстрел гораздо труднее, чем к одиночному самцу. В продолжение своего зимнего пребывания в Тибете мы с товарищем убили 32 яка (не считая ушедших раненых).

Монголы страшно боятся дикого яка, и нам рассказывали, что караваны богомольцев, встретив в узком ущелье лежащего зверя, останавливаются и ждут, пока он уйдет в сторону. Впрочем, цайдамские монголы довольно часто охотятся за яком. Главной приманкой такой охоты служит громадное количество мяса, получаемого с одного животного. Охотники собираются партией, человек в десять, и едут за хребет Бурхан-Будда или далее на реку Шуга. Не решаясь вступить с зверем в открытый бой, монголы стараются подкрасться к нему из-за какого-нибудь прикрытия, стреляют залпом и сами прячутся, в ожидании, что будет далее. Обыкновенно раненый як, не видя никого, уходит; тогда охотники преследуют его издали, и если пули попали хорошо, то назавтра, а иногда через день или два находят зверя мертвым. При подобной охоте, конечно, убивается редкий як, так как его стреляют из фитильных ружей, пуля которых действует несравненно слабее штуцерной. Иногда случается, что раненный монголами зверь, убежав от места стрельбы, встречает стреноженных лошадей охотников и убивает их своими

могучими рогами. Кроме мяса, монголы берут сердце и кровь яка, которые они считают лекарством от болезней; шкуры возят на продажу в город Донкыр, а из длинных волос хвоста и боков туловища вяжут веревки.

Мясо дикого яка, в особенности жирного молодого самца или яловой коровы, очень вкусно, но все-таки хуже, чем говядина домашнего сарлока; старые же самцы имеют очень твердое мясо.

Два с половиной месяца, проведенных нами в пустынях Северного Тибета, были одним из самых трудных периодов во всей экспедиции. Глубокая зима с сильными морозами и бурями, полное лишение всего, даже самого необходимого, наконец различные другие трудности все это, день в день, изнуряло наши силы. Жизнь наша была в полном смысле "борьбой за существование", и только сознание научной важности предпринятого дела давало нам энергию и силы для успешного выполнения своей задачи.

Для большей защиты от зимних холодов высокого Тибетского нагорья мы запаслись юртой, которую нам подарил дядя кукунорского вана. Правда, возня с этой юртой при ее установке на месте и при укладке на вьюк прибавляла немало работы, но зато в своем новом жилище мы несравненно лучше были укрыты от бурь и морозов, нежели в летней палатке.

Юрта наша имела 11 футов в диаметре основания и 9 футов до верхнего отверстия, заменявшего окно и трубу для дыма. 3-футовая дверь служила лазейкой в это жилище, остов которого обтягивался тремя войлоками с боков и двумя сверху; кроме того, для тепла мы впоследствии обкладывали боковые войлоки шкурами оронго.

Внутреннее убранство нашего обиталища не отличалось комфортом. Два походных сундука (с записными книгами, инструментами и другими необходимыми вещами), войлок и другие принадлежности для сна, оружие и прочее размещались по бокам юрты, в середине которой устанавливался железный таган, и в нем зажигался аргал.

Последний, за исключением ночи, горел постоянно как для приготовления чая или обеда, так равно и для теплоты. Мало-помалу за деревянные клетки боков и под кольца крыши подсовывалось то то, то другое, так что к вечеру, в особенности, после раздевания на ночь, весь потолок юрты увешивался сапогами, чулками, подвертками и тому подобными украшениями.

В таком жилище мы проводили трудные дни нашего зимнего путешествия в Тибете.

Утром, часа за два до рассвета, мы вставали, зажигали аргал и варили на нем кирпичный чай, который вместе с дзамбой служил завтраком. Для разнообразия иногда приготавливали затуран* или пекли в горячей аргальной, то есть навозной, золе пшеничные лепешки. * Затуран сибирское название кирпичного чая, приготовленного с мукой, жиром, солью и молоком. (Примеч. редактора.)

Затем на рассвете начинались сборы в дальнейший путь, для чего юрта разбиралась и вьючилась вместе с другими вещами на верблюдов. Все это занимало часа полтора времени, так что в дорогу мы выходили уже порядочно уставши. А между тем мороз стоит трескучий, да вдобавок к нему прямо навстречу дует сильный ветер. Сидеть на лошади невозможно от холода, идти пешком также тяжело, тем более неся на себе ружье, сумку и патронташ, что все вместе составляет вьюк около 20 фунтов. На высоком же нагорье, в разреженном воздухе, каждый лишний фунт тяжести убавляет немало сил; малейший

подъем кажется очень трудным, чувствуется одышка, сердце бьется очень сильно, руки и ноги трясутся; по временам начинаются головокружение и рвота.

Ко всему этому следует прибавить, что наше теплое одеяние за два года предшествовавших странствований так изнашивалось, что все было покрыто заплатами и не могло достаточно защищать от холода. Но лучшего взять было нигде, и мы волей-неволей должны были довольствоваться дырявыми полушубками или кухлянками и такими же теплыми панталонами; сапог не стало вовсе, так что мы подшивали к старым голенищам куски шкуры с убитых яков и щеголяли в подобных ботинках в самые сильные морозы.

Очень часто случалось, что к полудню поднималась сильная буря, которая наполняла воздух тучами пыли и песку; тогда идти уже было невозможно, и мы останавливались, сделав иногда переход верст в десять или того менее. Но даже в благоприятном случае, то есть когда погода была хороша, и тогда переход в 20 верст утомляет на высоком нагорье Тибета сильнее, нежели вдвое большее расстояние в местностях с меньшим абсолютным поднятием.

На месте остановки необходимо развьючить верблюдов и поставить юрту; эта процедура опять занимает почти час времени.

Затем нужно идти собирать аргал, рубить лед для воды и усталому, голодному ждать, пока наконец сварится чай. С жадностью ешь тогда отвратительное месиво из дзамбы с маслом и рад-радехонек, что хотя подобным кушаньем можно утолить свой голод.

После такого завтрака мы с товарищем обыкновенно идем на охоту, если только позволяет состояние погоды, или я пишу свои заметки, а казаки готовят обед, для чего снова рубится лед и замерзшее камнем мясо. То и другое кладется в чашу, в которой предварительно залепляются дырки кусочками сырой шкуры и смоченной дзамбой. Наша единственная посуда чаша и чайник от времени издырявились в нескольких местах, так что ежедневно приходилось заклеивать эти дырки; впоследствии мы починили их более прочным способом, употребив для такой цели несколько медных гильз от патронов Бердана.

Обед обыкновенно поспевал часам к шести или семи вечера и был самой роскошной трапезой, так как теперь мы могли есть вдоволь мяса. Правда, мяса мы столько добывали охотой, что имели возможность прокормить несколько сот людей, но для самих себя не всегда могли зажарить или сварить, так как мясо обыкновенно сильно замерзло и нужно было довольно долго таять его и лед для супа. Притом же вследствие разрежения воздуха аргал на Тибетском нагорье горит очень плохо и дает весьма мало жару; вода же закипает при 85 С, а потому мясо трудно сварить как следует.

После обеда, который вместе с тем служил и ужином, являлась новая работа. Так как все лужи и ручьи, за весьма редкими исключениями, были промерзшими до дна, а снегу также не имелось, то приходилось ежедневно таять два ведра воды для двух наших верховых лошадей. Затем наступало самое тяжелое для нас время долгая зимняя ночь. Казалось, что после всех дневных трудов ее можно бы было провести спокойно и хорошенько отдохнуть, но далеко не так выходило на деле. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истощением всего организма; при таком полуболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. Притом же вследствие сильного разрежения и сухости воздуха во время сна всегда являлось удушье, вроде тяжелого кошмара, и рот и губы очень сохли. Прибавьте к этому, что наша постель состояла из одного войлока, насквозь пропитанного пылью и постланного прямо на

мерзлую землю. На таком-то ложе и при сильном холоде без огня в юрте мы должны были валяться по 10 часов сряду, не имея возможности спокойно заснуть и хотя на это время позабыть всю трудность своего положения.

Дни, которые посвящались охоте, проходили более отрадным образом, но, к сожалению, морозы и частые бури сильно затрудняли эти охоты, а иногда делали их совершенно невозможными. Даже в том случае, когда ветер не превращался в бурю, но достигал лишь средней силы а это происходило решительно каждый день, то и тогда он служил великой помехой. Не говоря про холод, заставлявший охотиться в наушниках, рукавицах, кухлянках или полушубках, сильно затруднявших свободное движение, от действия встречного ветра глаза постоянно были полны слез, что, конечно, чрезвычайно портило меткость и быстроту выстрела.

Притом руки иногда так мерзли, что даже в скорострельный штуцер трудно было вложить патрон, не отогрев предварительно окоченевших пальцев. Да, наконец, на сильном морозе каморы штуцеров так сжимались, что после выстрела очень трудно было достать пустую гильзу и приходилось выбивать ее шомполом. Подобная история часто случалась у штуцеров Снейдера, но у ружья Бердана этого не было; зато у последнего от мороза и пыли, набившейся в механизм, очень часто происходили осечки, и патрон выстреливал только после вторичного удара боевой пружины.

Другим важным обстоятельством, сильно затруднявшим наши охоты, была чрезвычайная разреженность воздуха высоких нагорий Северного Тибета, вследствие чего усталость являлась здесь очень скоро. Впрочем, зверей было такое множество, что редко приходилось далеко ходить за ними; часто мы охотились не далее 1 или 2 верст от своей юрты. Но иногда, увлекшись преследованием, мы возвращались к стоянке лишь поздно вечером, и мой товарищ во время одной из таких охот до того простудил ноги, что не мог ходить более недели.

Берега Голубой реки были пределом наших странствований во Внутренней Азии. Хотя до Лассы оставалось только 27 дней пути, то есть около 800 верст, но попасть туда нам было невозможно. Страшные трудности Тибетской пустыни до того истомили вьючных животных, что из одиннадцати наших верблюдов три издохли, а остальные едва волочили ноги. Притом наши материальные средства так истощились, что за променом (на возвратном пути) в Цайдаме нескольких верблюдов у нас оставалось всего пять лан денег, а впереди лежали целые тысячи верст пути. При таких условиях невозможно было рисковать уже добытыми результатами путешествия, и мы решили идти обратно на Куку-нор и в Гань-су, с тем чтобы провести здесь весну, а потом двинуться в Алашань по старой, знакомой дороге, где можно обойтись и без проводника.

Хотя такой возврат был решен ранее, но все-таки мы с грустью покинули берега Янцзы, зная, что не природа и не люди, но только один недостаток средств помешал нам пробраться до столицы Тибета.

* * * В первой трети февраля мы окончили свои странствования по пустыням Северного Тибета и возвратились в равнины Цайдама.

Контраст климата между этими равнинами и высоким Тибетским нагорьем был так велик, что, опускаясь с хребта Бурхан-Будда, мы чуть не с каждым днем чувствовали, как делалось теплее и погода становилась весенней.

Впрочем, влияние более теплых равнин Цайдама на соседние части Тибета обнаруживается даже до гор Шуга; лишь только на возвратном пути мы перешли на северную сторону этого хребта, как климат заметно смягчился. Правда, ночные морозы бывали в — 28,5 С, но днем солнце грело довольно сильно, так что 5 февраля появились первые насекомые еще на тибетской стороне гор Бурхан-Будда.

При первоначальном следовании к Мур-усу мы также имели до гор Шуга хорошую и днем довольно теплую погоду сильные холода и бури начались, собственно, с тех пор, как мы перешли вышеназванный хребет и поднялись на высокое плато за речкой Уянхарза.

Весна в Цайдаме наступает вообще очень рано и характеризуется в то же время своим крайне континентальным характером. Так, в половине февраля ночные морозы еще доходили до -2 °С, между тем как днем термометр показывал иногда +13 С в тени. На солнечном пригреве лед везде таял. И 10 февраля явились первые прилетные птицы турпаны; 13 числа прилетели кряковые утки, а на другой день показались крохали, краснозобые дрозды и лебеди-кликун; по утрам слышались голоса мелких пташек и токованье фазанов словом, весна чувствительно уже заявляла свои права.

Но все эти знамения благодатного времени сильно нарушались периодически возвращавшимися холодами, иногда снегом и бурями.

Последние обыкновенно являлись с запада и приносили тучи пыли, поднятой с соляных равнин; пыль эта продолжала стоять в воздухе и после бури, так что атмосфера была постоянно наполнена ею, как дымом.

В начале марта мы пришли на берега Куку-нора и встретили здесь еще меньшее пробуждение природы, нежели в Цайдаме, чуть не целым месяцем ранее. Озеро было сплошь замерзшим, и даже быстрый Бу-хайн-гол только местами очистился ото льда, намерзшего зимой до 3 футов толщины; пролетных птиц было менее, нежели в Цайдаме.

Иную картину, нежели прошедшей осенью, представляло теперь озеро Куку-нор.

Ослепительно белая ледяная поверхность заменила темно-голубой цвет его соленых вод, и, словно исполинское заркало, лежало скованное озеро в темной рамке окрестных гор и степей. Ни полыней, ни торосов не было видно на громадной ледяной площади, гладкой, как пол, и лишь немного засыпанной снегом. Там же, где лед не был покрыт такой скатертью, он блестел на солнце прихотливыми переливами и обманчиво представлял издали незамерзшую воду.

Береговые степи отливали желтоватым цветом иссохшей травы, часто совершенно выбитой хуланами, дзеренами и тангутским скотом. Монотонность общей картины здесь нарушалась только миражами, которые являлись очень часто и иногда бывали до того сильны, что на большие расстояния трудно было стрелять из штуцера дзеренов или хуланов: звери казались плавающими в воздухе и вдвое большего роста.

Во время месячной стоянки на устье Бухайн-гола мы окончательно снарядили свой караван для дальнейшего пути. Войлочная юрта, которую мы имели с прошлой осени, была променяна монголам на несколько верблюжьих седел, крайне для нас необходимых.

Затем еще по возвращении в Цайдам более половины наших верблюдов не годились на дальнейший путь, и хотя мы успели променять тангутам своих усталых животных, но после такого промена у нас осталось всего пять лан денег. Между тем необходимо было

приобрести еще трех новых верблюдов взамен погибших в Тибете. Тогда мы решились прибегнуть к самому крайнему средству, именно к продаже нескольких револьверов тангутским и монгольским чиновникам. Из двенадцати бывших у нас в то время налицо револьверов мы променяли три на трех хороших верблюдов: сверх того, два револьвера были проданы за 65 лан, и этими деньгами мы обеспечили себе возможность пробыть три весенних месяца на Куку-норе и в Гань-су.

Лучший из всех месяцев в году май даже в Гань-су начался совершенно по-весеннему.

Снега, падавшие в течение всего апреля, теперь кончились и заменились дождями, которые шли довольно часто, но были вообще непродолжительны. Хотя по ночам все еще стояли небольшие морозы, но днем солнце грело сильно и быстро вызывало растительную жизнь. К 15-му числу описываемого месяца деревья в среднем поясе гор распустились уже наполовину, а в нижнем листья на них развернулись совершенно. Ярко блестела на солнце молодая зелень; многие кустарники покрывались цветами, которые также щедро рассыпались и среди травянистых растений. В густых зарослях по берегам горных речек теперь зацвели шиповник, вишня, смородина, крыжовник, жимолость и барбарис с красивыми желтыми кистями цветов; сюда присоединилась великолепная пахучая дафна алтайская, а по открытым горным склонам боярка и желтая карагана. Из трав в лесах показались цветущие анемоны, фиалки, пионы и сплошными массами земляника; по горным долинам стали красоваться касатик, первоцвет, одуванчик и лапчатка, а по открытым склонам гор камнеломка, сухоребрица, термопсис, подофилл и др.

* * * В конце мая мы вышли из горной области Гань-су и очутились у порога Алашаньской пустыни. Безграничным морем лежали теперь перед нами сыпучие пески, и не без робости ступали мы в их могильное царство. Не имея средств нанять проводника, мы должны были идти одни и рисковать всеми случайностями трудного пути, тем более что в прошедшем году, следуя с тангутским караваном, я только украдкой и часто наугад мог записывать приметы и направление дороги. Такой маршрут, конечно, был крайне ненадежен, но теперь он служил нашим единственным путеводителем в пустыне. 15 дней употребили мы на переход от Даджина до города Дынь-юань-ин и благополучно совершили этот трудный путь. Только однажды чуть-чуть не заблудились в пустыне. Дело это было 9 июня на переходе между озерком Серик-долон и колодцем Шангын-далай. Выйдя рано утром от Серик-долона, мы прошли сначала несколько верст сыпучими песками, а затем вышли на глинистую площадь, где явилась тропинка, вскоре разделившаяся надвое. Такого раздвоения мы не заметили в прошедшем году, так что теперь нам пришлось угадывать, по которой дорожке следует идти. Затруднение увеличивалось еще более тем обстоятельством, что обе ветви тропинки расходились под очень острым углом; следовательно, и с помощью буссоли нельзя было определить, которое направление вероятнее. Правая ветвь дорожки была гораздо торнее, поэтому я решил выбрать этот путь и не угадал.

Несколько верст мы прошли, ничего не подозревая, но потом стали являться новые поперечные тропинки, которые совершенно сбили нас с толку; наконец наша дорожка совсем кончилась, упершись в какую-то довольно торную дорогу. Идти по этой дороге мы не могли, не зная, куда она поведет; вернуться на прежний перекресток также не рисковали, так как это место было уже довольно далеко позади; а во-вторых, мы не знали, насколько обеспечено следование по другой ветви первоначальной тропинки.

Выбирая из всех зол меньшее, мы решили держаться своего первоначального направления, рассчитывая, что увидим издали ту небольшую группу гор, у подошвы которых должен был находиться колодец Шангын-далай.

Между тем наступил полдень, жара стояла сильная, и мы остановились отдохнуть часа два или три. Затем пустились вновь всё в прежнем направлении, следуя теперь уже напрямик по буссоли, и наконец увидели немного вправо небольшую горную группу, которую приняли за Шангын-далайскую. Так как в воздухе целый день стояла пыль от сильного ветра, то мы не могли даже в бинокль хорошенько разглядеть очертание появившихся горок, до которых было еще далеко. Наступил вечер, и мы остановились ночевать в уверенности, что это именно желаемые горки, и, только прокладывая на карту пройденный путь, я заметил, что мы сильно уклонились к востоку и что едва ли идем как следует. А между тем запасной воды к ночи у нас оставалось не более двух ведер, да и то мы не давали ни капли ее лошадям, которые от сильной жажды едва передвигали ноги. Вопрос, найти или не найти завтра колодец, становился вопросом жизни или смерти, и понятно, под каким впечатлением провели мы вечер. К счастью, ночью ветер стих, и пыль осела из воздуха. Утром, лишь только рассвело, я начал осматривать в бинокль окрестности, взобравшись на несколько поставленных друг на друга ящиков с коллекциями.

Вчерашняя группа гор была видна совершенно ясно, но в то же время как раз прямо на север от нашего ночлега виднелась вершинка другой горки, которая также могла быть шангын-далайской. Теперь предстояло решить: на какую из этих горок направить путь? Отложив на карте засечку последней горки и сличив приблизительное ее положение с тем, что у меня было записано в прошлогоднем дневнике, я решил идти на северную горку.

В томительном сомнении завьючили мы своих верблюдов и двинулись в путь.

Путеводная вершинка то выглядывала из-за пологих возвышений волнистой равнины, то опять скрывалась за ними. Напрасно мы часто смотрели на нее в бинокль, чтобы увидеть характерную приметку, записанную в моем дневнике, именно кучу камней (обо), сложенных на вершине, расстояние еще было слишком велико, чтобы заметить такой сравнительно маленький предмет. Наконец верст через десять от места ночлега увидели желаемую приметку; тогда, ободренные надеждой, мы ускорили свой ход и через несколько часов стояли возле колодца, к которому с жадностью бросились наши животные, совершенно измученные жаждой.

В Ала-шаньских горах мы провели теперь три недели, и результатом исследования оказалось, что эти горы вообще небогаты как своей растительностью, так и фауной.

Относительно растительности в Ала-шаньском хребте (по крайней мере, на западном, исследованном нами склоне) можно различать три полосы: наружную окраину, полосу лесов и пояс альпийских лугов.

Казалось бы, что в безводных Ала-шаньских горах нам всего менее предстояло опасности от воды, но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, которые могут в здешних странах грянуть над головой путешественника, и неожиданно-негаданно в наших горах явилось такое наводнение, какого до сих пор мы еще не видали ни разу.

Дело это происходило следующим образом. Утром 1 июля вершины гор начали кутаться облаками, служившими, как обыкновенно, предвестием дождя. Однако к полудню почти совсем разъяснилось, так что мы ожидали хорошей погоды, как вдруг, часа три спустя, облака сразу начали садиться на горы, и наконец полил дождь словно из ведра. От этого ливня палатка наша быстро промокла, и мы, сидя в ней, отводили в сторону небольшими канавками попадавшую к нам воду. Так прошло около часа; ливень не унимался, хотя туча была не грозовая. Огромная масса падавшей воды не могла впитаться почвой или

удержаться на крутых склонах гор, так что вскоре со всех ложбин, боковых ущелий и даже с отвесных скал потекли ручьи, которые, соединившись на дне главного ущелья, то есть того, в котором мы стояли, образовали поток, понесшийся вниз с ревом и страшной быстротой.

Глухой шум еще издали возвестил нам приближение этого потока, масса которого увеличивалась с каждой минутой. Мигом глубокое дно нашего ущелья было полно воды, мутной, как кофе, и стремившейся по крутому скату с невообразимой быстротой.

Огромные камни и целые груды меньших обломков неслись потоком, который с такой силой бил в боковые скалы, что земля дрожала как бы от вулканических ударов.

Среди страшного рева воды слышно было, как сталкивались между собой и ударялись в боковые ограды огромные каменные глыбы. Из менее твердых берегов и с верхних частей ущелья вода тащила целые тучи мелких камней и громадными массами бросала их то на одну, то на другую сторону своего ложа. Лес, росший по ущелью, исчез все деревья были выворочены с корнем, переломаны и перетерты на мелкие кусочки...

Между тем проливной дождь не унимался, и сила бушевавшей возле нас реки возрастала все более и более. Вскоре глубокое дно ущелья было завалено камнями, грязью и обломками леса, так что вода выступила из своего русла и понеслась по не затопленным еще местам. Не далее 3 сажен от нашей палатки бушевал поток, с неудержимой силой уничтожавший все на своем пути. Еще минута, еще лишней фут прибылой воды, и наши коллекции, труды всей экспедиции, погибли бы безвозвратно...

Спасти их нечего было и думать при таком быстром появлении воды; впору было только самим убраться на ближайшие скалы. Беда была так неожиданна, так близка и так велика, что на меня нашел какой-то столбняк; я не хотел верить своим глазам и, будучи лицом к лицу со страшным несчастьем, еще сомневался в его действительной возможности.

Но счастье и теперь выручило нас. Впереди нашей палатки находился небольшой обрыв, на который волны начали бросать камни и вскоре нанесли их такую грудку, что она удержала дальнейший напор воды, и мы были спасены.

К вечеру дождь уменьшился, поток начал быстро ослабевать, и утром следующего дня только маленький ручеек катился там, где накануне бушевала целая река. Ясное солнце осветило картину вчерашнего разрушения, которое до того сильно изменило прежний вид нашего ущелья, что мы сами не узнавали его. Вынесшиеся же из гор потоки пробежали до сыпучих песков и исчезли в них...

Вернувшись в Дынь-юань-ин, мы занялись снаряжением своего каравана, променяли плохих верблюдов, купили новых и утром 14 июня двинулись в путь. Благодаря пекинскому паспорту, а еще более подаркам, сделанным местному тосалакчи, который за отсутствием князя управлял всеми делами, мы получили двух проводников. Они должны были провести нас до границы Ала-шаня и там похлопотать о найме двух новых людей, о чем была дана бумага из алашаньского ямына. Такое распоряжение передавалось и далее, так что мы везде получали проводников, которые сопутствовали нам по своим хошунам. Подобное обстоятельство было чрезвычайно важно, так как путь наш лежал через самую дикую часть Гоби в меридиональном направлении, из Ала-шаня на Ургу, и пройти здесь самим, без проводника, было бы невозможно.

Теперь опять начался для нас длинный ряд трудных дней. Всего более приходилось терпеть от июльских жаров, доходивших в полдень до +45 С в тени, да и ночью иногда не падавших ниже +23,5 С. Утром лишь только солнце показывалось из-за горизонта, как уже начинало жечь невыносимо. Днем жара обдавала со всех сторон: сверху от солнца, снизу от раскаленной почвы. Если поднимался ветер, то он не охлаждал атмосферу, но, наоборот, взбалтывая нижний раскаленный слой воздуха, еще более усиливал жар. На небе, в такие дни не было видно ни одного облачка, да и само оно казалось какого-то грязного цвета.

Почва накалялась на 63 С, а вероятно, и более в голых песках, температура которых на глубине 2 футов еще достигала +26 С.

Палатка нисколько не спасала нас от жары, так как духота внутри нее, несмотря на приподнятые бока, обыкновенно стояла еще большая, чем на открытом воздухе.

Напрасно обливали мы иногда водой не только палатку, но даже и землю внутри нее через полчаса все было сухо по-прежнему, и опять не знали мы, куда деться от невыносимого зноя.

Сухость воздуха стояла страшная, росы вовсе не падало, а дождевые тучи разрежались в воздухе, посылая на землю лишь несколько капель. Это интересное явление нам случалось наблюдать несколько раз, в особенности в Южном Ала-шане, вблизи гор Гань-су; дождь, падавший из облака, выдвинутого в пустыню, не долетал до земли, но, встречая раскаленный нижний слой воздуха, снова превращался в пар.

Грозы случались редко, но зато ветры дули почти постоянно днем и ночью; иногда они достигали силы бури и преобладали в двух направлениях: юго-восточном и юго-западном.

В тихие дни обыкновенно кружились вихри, которые появлялись особенно часто около полудня и после него.

Чтобы избегнуть, по возможности, жаров хотя во время пути, мы вставали еще до рассвета. Однако возня с чаем и выючением верблюдов отнимала так много времени, что мы всегда выходили не ранее четырех, а иногда даже пяти часов утра. Правда, мы могли очень много облегчить свои переходы, делая их ночью, но в таком случае нужно было отказаться от съемки, составлявшей один из важных отделов наших исследований.

Путешествие наше началось теперь не совсем благополучно. На шестой день по выходе из Дынь-юань-ина мы лишились своего неизменного друга Фауста, да и сами едва не погибли в песках. Вся эта невзгода случилась при следующих обстоятельствах.

Утром 19 июля мы вышли от озера Джа-ратай-дабасу и направились к хребту Хан-ула.

По словам проводника, переход предстоял верст двадцать пять, но по пути должны были встретиться два колодца верстах в восьми один от другого.

Пройдя такое расстояние, мы действительно нашли первый колодец, из которого напоили своих животных, и двинулись далее в полной надежде встретить еще через 8 верст другой колодец и остановиться возле него, так как жара делалась слишком велика, несмотря на то что было еще менее семи часов утра. Уверенность найти второй колодец была так велика,

что наши казаки предлагали вылить из бочонков запасную воду, чтобы не возить ее даром, но я, по счастью, не приказал этого делать. Пройдя верст десять, мы не встретили колодца; тогда проводник объявил, что мы зашли в сторону, и поехал на ближайшие песчаные холмы осмотреть с них окрестности. Немного спустя монгол подал нам знак следовать туда же, и, когда мы пришли, он начал уверять, что хотя мы пропустили второй колодец, но до третьего, где первоначально предполагалась наша ночевка, не более 5–6 верст.

Мы пошли в указанном направлении. Между тем время подвигалось к полудню, и жара становилась невыносимой. Сильный ветер взбалтывал нижний раскаленный слой воздуха и обдавал нас им вместе с песком и соленой пылью. Страшно трудно было идти нашим животным, и в особенности собакам, которые должны были бежать по почве, раскаленной до +63 С. Видя муки наших верных псов, мы несколько раз останавливались, поили их и мочили им и себе головы. Наконец запас воды истощился осталось менее полуведра, и ее нужно было беречь на самый критический случай. "Далеко ли еще до колодца?" много раз спрашивали мы у своего проводника и всегда получали ответ, что близко, за тем или другим песчаным холмиком. Так прошли мы верст десять, а воды нет как нет. Между тем наш бедный Фауст, не получая уже больше питья, начал ложиться и выть, давая тем знать, что он истомляется окончательно. Тогда я решил послать вперед к колодцу своего товарища и монгола-проводника. Вместе с ними был отправлен Фауст, который уже не мог бежать, а потому я велел монголу взять его к себе на верблюда. Проводник не переставал уверять, что до воды близко, но когда, отъехав версты две от каравана, он указал моему товарищу с вершины холма место колодца, то оказалось, что до него еще добрых 5 верст. Судьба нашего Фауста была решена; с ним начали делаться припадки, а между тем доехать скоро до колодца не было возможности и до каравана также не близко, чтобы взять хотя стакан воды. Тогда мой товарищ остановился подождать нас, а Фауста положили под куст зака, сделав покрывку из седельного войлока.

Бедная собака теряла чувства с каждой минутой, наконец завывала, зевнула раза два-три и издохла.

Положив на вьюк труп несчастного Фауста, мы двинулись далее, не будучи уверены, есть ли колодец или нет в том месте, на которое указывал проводник, обманувший нас уже несколько раз сряду. Положение наше в это время было действительно страшное. Воды оставалось не более нескольких стаканов; мы брали в рот по одному глотку, чтобы хотя, немного промочить почти засохший язык; все наше тело горело как в огне; голова кружилась чуть не до обморока.

Я ухватился за последнее средство: приказал одному казаку взять котелок и вместе с проводником скакать к колодцу; если же монгол вздумал бы дорогой бежать, то я велел казаку стрелять по нему.

Быстро скрылись в пыли, наполнявшей воздух, посланные вперед за водой, а мы брели по их следу в томительном ожидании решения своей участи. Наконец через полчаса показался казак, скачущий обратно, но что он вез нам: весть ли о спасении или о гибели? Пришпорив своих коней, которые уже едва волокли ноги, мы поехали навстречу этому казаку и с радостью, доступной человеку, бывшему на волос от смерти, но теперь спасенному, услышали, что колодец действительно есть, и получили котелок свежей воды. Налившись и намочив головы, мы пошли в указанном направлении и вскоре достигли колодца Боро-сонджи.

Дело было уже в два часа пополудни, так что по страшной жаре мы шли 9 часов сряду и сделали 34 версты.

Развьючив верблюдов, я отправил казака с монголом за брошенным по дороге вьюком, возле которого осталась другая наша монгольская собака, сопутствовавшая нам уже почти два года. Улегшись под брошенным вьюком, она осталась жива и, освежившись привезенной водой, возвратилась к стоянке вместе с посланными людьми.

Несмотря на все истомление, физическое и нравственное, мы до того были огорчены смертью Фауста, что ничего не могли есть и почти не спали целую ночь. Утром следующего дня мы выкопали небольшую могилу и похоронили в ней своего верного друга. Отдавая ему последний долг, мы с товарищем плакали, как дети. Фауст был нашим другом в полном смысле слова. Много раз в тяжелые минуты различных невзгод мы ласкали его, играли с ним и наполовину забывали свое горе. Почти три года этот верный пес служил нам, и его не сокрушили ни морозы и бури Тибета, ни дожди и снега Гань-су, ни трудности дальних хождений по целым тысячам верст. Наконец его убил палящий зной Алашаньской пустыни и, как назло, всего за два месяца до окончания экспедиции.

Во время нашего путешествия в первой половине августа жары стояли очень большие, хотя все-таки не достигли такой крайности, как в Ала-шане. Ветры дули почти непрерывно днем и ночью и часто достигали силы бури, наполнявшей воздух тучами соленой пыли и песка. Последний иногда заносит колодцы, которые еще чаще уничтожаются во время дождей, выпадающих здесь хотя редко, но зато обыкновенно ливнями. Тогда на час или два вдруг появляются целые реки, которые заносят грязью или песком колодцы, всегда выкапываемые на более низких местах. Пройти здесь без проводника, отлично знающего местность, невозможно, гибель грозит путнику на каждом шагу. Словом, описываемая пустыня, равно как и Алашаньская, до того ужасна, что сравнительно с ними пустыни Северного Тибета могут быть названы благодатной страной. Там по крайней мере часто можно встретить воду, а по долинам рек хорошие пастбища.

Здесь нет ни того, ни другого, нет даже ни одного оазиса: всюду безжизненность, молчание долина смерти в полном смысле слова. Столь прославленная Сахара едва ли страшнее описываемых пустынь, которые тянутся на многие сотни верст по широте и долготе.

Хребет Хурху, составляющий в пройденном нами направлении северную границу наиболее дикой и пустынной части Гоби, тянется резко очерченной грядой по направлению от юго-востока к западу-северо-западу. Как далеко он простирается в ту и другую сторону, мы не могли узнать положительно, но местные монголы говорили нам, что в юго-восточном направлении Хурху продолжается до окраинных гор долины Хуан-хэ, а к западу идет с небольшими перерывами очень далеко, также до каких-то высоких гор. Если дать веру последнему сообщению, то можно предположить, что описываемый хребет простирается к западу до Тянь-шаня, образуя связь между этой системой и Инь-шанем. Факт чрезвычайно интересный, но решить его положительно могут, конечно, только будущие исследователи.

Тощие пастбища средней Гоби в описываемой полосе заменяются прекрасными лугами, которые по мере приближения к Урге делаются все лучше и лучше. Хармык, бударгана и лук, исключительно преобладавшие в средней части Гоби, теперь исчезают, а взамен их являются различные злаки, виды бобовых, сложноцветных, гвоздичных и др.

Сразу показывается в обилии и животная жизнь. Дзерены бродят по роскошным лугам, пищухи везде снуют по норам, тарбаганы греются на солнце, а из-под облаков льется знакомая песнь полевого жаворонка, которого мы не встречали от самой Гань-су.

С приближением к Урге наше нетерпеливое ожидание поскорее попасть туда росло все более и более; теперь уже не месяцами, даже не неделями, но только днями считали мы близость желанной минуты. Наконец, перейдя через невысокий хребет Гагын-дабан, мы достигли берегов Толы, первой реки, встреченной нами в Монголии. От самой Гань-су до сих мест, на протяжении 1300 верст, мы не видали ни одного ручья, ни одного озера, исключая соленых дождевых луж. С водой явились и леса, которые густо осеняли собой крутые склоны горы Хан-ула. Под таким радостным впечатлением мы сделали свой последний переход и 5 сентября явились в Ургу, где встретили самый радушный прием со стороны нашего консула.

Не берусь описать впечатлений той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица и попали в европейскую обстановку. С жадностью расспрашивали мы о том, что делается в образованном мире, читали полученные письма и, как дети, не знали границ своей радости.

Лишь через несколько дней мы стали приходить в себя и свыкаться с цивилизованной жизнью, от которой совершенно отвыкли во время долгих странствований. Контраст между тем, что было еще так недавно, и тем, что теперь нас окружало, являлся настолько резко, что все прошлое казалось каким-то страшным сном.

Отдохнув целую неделю в Урге, мы поехали отсюда в Кяхту, куда и прибыли 19 сентября 1873 года.

Путешествие наше окончилось! Его успех превзошел даже те надежды, которые мы имели, переступая первый раз границу Монголии. Тогда впереди нас лежало непредугадываемое будущее; теперь же, мысленно пробегая все пережитое прошлое, все невзгоды трудного странствования, мы невольно удивлялись тому счастью, которое везде сопровождало нас. Будучи бедны материальными средствами, мы только рядом постоянных удач обеспечивали успех своего дела. Много раз оно висело на волоске, но счастливая судьба выручала нас и дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран Внутренней Азии.